В. А. ВАГАНЯН

ХАЧАТУР АБОВЯН

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
1934

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Хачатур Аветикович Абовян армянский писатель, основоположник новой армянской литературы и нового литературного языка, педагог, этнограф.

- Вагаршак Арутюнович Тер-Ваганян
- Предисловие
- Разгромите национал-демократические традиции!
- В церковной костоломне
- С Парротом на Арарат
- Социально-классовые условия в Армении
- В Дерпт за знанием
- Отсветы революций 30-х годов
- В защиту Паррота
- Немецкие буршеншафты
- Литературные влияния
- Листопад иллюзии
- Как тускнеют надежды
- Тифлисское отражение казанских неудач
- Сквозь письма Назаряна
- Несколько слов о раннем демократизме
- «Предтропье»
- «Раны Армении»
- «Раны Армении». Этапы буржуазного сознания
- «Раны Армении». Идейный состав романа
- «Раны Армении». Идейные срывы
- Микаэл Налбандян и «Раны Армении»
- «Парап вахти хахалик»[14]
- Годы поражений
- С европейскими путешественниками по Армении
- Последняя схватка с церковной тьмой и духовной инквизицией
- Еще раз на Арарат
- Последний год
- Заключение
- Приложения
- Примечания
- Библиография
- notes
  - 1
  - 2
  - 3

- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20

Вагаршак Арутюнович Тер-Ваганян
Хачатур Абовян

Предисловие

Хачатур Абовян — это самая монументальная и самая трагическая фигура армянской литературы.

Я говорю о литературе по традиции, мог бы сказать — всей армянской истории первой половины XIX века.

«Процесс ликвидации феодализма и развития капитализма является в то же время процессом складывания людей в нацию» (Сталин).

Этот процесс, как и всякий процесс, имеет критическую точку развития, когда вызревшие в недрах старого общества элементы нового в какой-то короткий срок консолидируются в сознании идеолога передового класса в систему новых взглядов.

На долю Абовяна выпала величайшей важности задача — в качестве идеолога третьего сословия формулировать основные положения раннего демократизма на почве потребностей и социальных противоречий своей истории.

Эту задачу он выполнил с подлинно гениальной непосредственностью.

Прошьян назвал Абовяна «человеком ранее времени родившимся».

Это меткое определение почти дословно совпадает с определением Герцена, назвавшего себя и своих друзей «рано проснувшимися».

Если сохранить все пропорции и надлежащую дистанцию, совпадение вполне закономерное.

«Далекий и одинокий предтеча буржуазной демократии дворянин Герцен» (Ленин) сравнительно легко вынес свое одиночество.

Ранний приход Абовяна был трагичен и стоил ему жизни.

Разница судеб, как и разница в четкости и ясности идейных настроений, — продукт различий

социально-классовой обстановки. Чем сильнее поповско-феодальные традиции и силы, их охраняющие, чем медленней процесс экономического развития и слабее экспрессия нового общества, тем острее трагедия рано проснувшегося.

Консолидация экономическая, а значит и национальная, шла в армянской действительности мучительно медленно. Основы церковной диктатуры и феодально-поповских традиций расшатывались, но с убийственной медлительностью и при непрекращающейся неравной борьбе.

Такое неблагоприятное сочетание социально-классовых сил и делало судьбу Абовяна трагической.

Но его трагедия — одна из тех светлых трагедий, в которых фатальна не только смерть индивидуума, но и победа того дела, за которое он умирает,

Абовян (провозгласил основы раннего демократизма, о характере которого с такой гениальной ясностью говорит Ленин в своих статьях о Китайской революции и о Сун-Ят-сене. В год, когда Абовян пал под тяжестью гнетущего несоответствия между задачами, и средствами, в этот год вступил в строй другой солдат демократии, который поднял знамя Абовяна, последовательно прошел путь демократического развития до подлинно революционного демократизма.

Я говорю о Налбандяне.

В своей книге я пытаюсь изучением фактов деятельности и творчества Абовяна, его борьбы, иллюзий, утопических надежд и горьких разочарований проследить этот процесс кристаллизации из туманного и хаотического недовольства — демократической программы.

Удалось ли это мне — пусть судит читатель.

В. Ваганян

Разгромите национал-демократические традиции!

Постоянные напоминания о том, что национал-демократические традиции опутывают сознание трудящихся, угнетают мысль и творчество наших кадров, мешают нам правильно решить проблему наследства, заслоняя от нас все подлинно передовое, подлинно прогрессивное, — частые напоминания этой истины притупляют настороженность. Читатель хочет конкретности.

Читатель прав.

Потребность сегодняшнего дня не только в том, чтобы повторять уже знакомые предупреждения.

Наряду с этим делом сегодня выросла другая еще более важная и трудная проблема: вытеснение национал-демократизма из уже занятых позиций. Имея в руках такой тонкий инструмент, как метод Маркса и Ленина, мы должны теперь же взяться за решение этой неотложной задачи, за пересмотр национал-демократических традиций, за разгром этих традиций.

Ни одно поколение, как бы оно не было умудрено собственным опытом, не сумеет выйти за пределы эмпирического повседневья, если оно не изучит пройденного пути.

Предвидеть и соответственно строить поведение на грядущее можно только обнаружив законы и закономерности развития на большом полотне, на эксперименте, проделанном человечеством в течение долгого ряда столетий, на протяжении его длинного исторического пути.

«То, что было, облегчает понимание того, что будет», — справедливо говорит Плеханов. Но то, что было, только тогда облегчит нам задачу, когда мы его проанализируем с научной точки зрения, когда мы будем иметь дело с действительными событиями, а не с призраками, когда мы в состоянии рассматривать события в общем контексте исторического потока, а не в их партикулярном футляре, в их естественном виде, а не сквозь призму больного самомнением национального сознания, с научной трезвостью, освобожденной от всех предрассудков и традиций.

Когда я говорю о традициях, то чувствую острую необходимость тут же ограничить самого себя, ибо никто так не дорожит традициями, как мы.

Но традиции традициям рознь!

Мы дорожим традициями прогресса, поступательного

движения истории, традициями ее социальных, идейных и политических революций — даже когда мы относимся к ним критически. Чтобы обрести такие традиции, Маркс, Энгельс, Ленин, должны были десятилетиями очищать авгиевы конюшни всемирной истории от дурных традиций, от предрассудков, от ложных репутаций и мнимых авторитетов, от искажающих перспективу неверных оценок, от химер и фантасмагорий, от опьяняющих сказок и одурманивающего идолопоклонства, от вскормленного обскурантизмом национального самомнения.

Традициями, выдержавшими эту критическую бурю, мы дорожим, и во имя создания таких традиций мы должны в национальных исторических преданиях подвергнуть пересмотру все прошлое наследство, с его героями и славой, с его оценками и мнениями, с его теориями и обобщениями.

Национал-демократические рабы, клерикальные мракобесы, буржуазно-торгашеские тупицы, именовавшиеся «общественными деятелями», просто люди с мошной — все они наложили свое клеймо на историю, на события прошлого, все они в меру своих сил искажали и извращали исторические дела и борьбу народных масс, создавали свою традицию, свою историю, свою перспективу, часто прямо противоположную действительности.

Эту традицию надо пересмотреть, эту инерцию надо преодолеть, эти штампы надо разбить — такова повелительная потребность времени. Надо пересмотреть историю в свете учения Маркса, Ленина и Сталина при помощи их метода. Пора уже от предупреждающих сигналов перейти к конкретной разработке проблем.

В этом смысле прав читатель в своих требованиях.

Одним из таких важнейших узловых вопросов истории, где читатель давно уже делает попытки вырваться из заколдованного круга лжи и клеветы, наслоенных национал-каннибальской «наукой», — является вопрос об Абовяне,

Куда бы ни заглянул, за какую бы статью о нем ни принялся этот любознательный читатель — всюду он находит горы нелепостей, сусально-патриотического хлама и поповско-клерикальной клеветы. Даже Октябрьская революция не разбила эту традицию, и на страницах наших (периодических органов не раз появлялись статьи, протаскивавшие сквозь тонкую ткань современной фразеологии старую престарую национал-демократическую идеологию.

Нетрудно предположить, что этот читатель с огромным интересом принялся за чтение статьи Ерванда Шахазиса о последних пяти годах жизни Хачатура Абовяна («Известия Института наук и искусств») и так же легко понять скептицизм,

который охватил его с первых страниц ученой статьи.

Первые же страницы, несомненно, поразили читателя своей идейной беспомощностью. В 1928 году автор все еще продолжал барахтаться в лапах национал-демократических традиций, опутавших имя Абовяна.

А почувствовав это, не адресовал ли этот читатель горький упрек нашим достоуважаемым ученым академикам:

«Ну что бы нашим образованным марксистам помочь бедному Абовяиу восстановить свое подлинное идейное лицо?».

На самом деле, что же мешает?

Ведь это было бы величайшим благодеянием не только по отношению к читателю, но и по отношению к Е. Шахазису, который буквально задыхается в чаду национал-демократической кухни.

Не угодно ли послушать, как он, оспаривая предания о том, что Абовян был увезен в «черной карете» жандармами и сослан в Сибирь, поносит Абовяна:

«За что царское правительство должно было его сослать? Он не был антиправительственным, как мы видим по его инспекторским бумагам (нашел надежный источник! — В. В.), наоборот, он был крайний русофил и предан престолу, покорный господствующим законам и существующей форме правления. Вся его жизнь перед нами. Какой грех он совершил, какую вину он имел против — государства, чтобы быть сосланным в «черной карете?» Для опровержения достаточно прочитать «Раны Армении». Собственноручные письма и записи Абовяна неопровержимо доказывают, что он не был в числе протестантов против русского правительства. Не только в Эривани, но и нигде он не был руководителем армянской интеллигенции и с точки зрения государства не был и не мог в легендарной черной карете быть сосланным».

В этой тираде все замечательно, но даже в таком изысканном букете национал-демократических аргументов упоминание интеллигенции особо изумляет.

Значит, царское правительство имело бы основание сослать Абовяна, если бы он был руководителем армянской интеллигенции?

Удивительно! Охранники Николая I предпочитали как раз обратное. Они весьма благоволили к

«руководителям армянской интеллигенции» и преследовали тех, кого эта пресловутая интеллигенция не принимала, отвергала.

Почему же такое несовпадение между предположением Шахазиса и делами Бенкендорфа? Да потому, что Николай I в

тогдашней «армянской интеллигенции» совершенно законно видел свою лучшую опору, с полным основанием считая ее надежной могильной плитой на народном сознании, а вождя этой «интеллигенции» — Нерсеса Аштаракского он просто зачислял в свои охранительные беспогонные войска, так сказать, офицером жандармского корпуса без мундира (почитайте наивный рассказ П. Прошьяна, как этот деспот армянских трудящихся масс лобызался с жандармами и лебезил перед царскими чиновниками!).

В глазах Николая I и Бенкендорфа мир с феодально-клерикальной рутиной вовсе не был преступным.

Человек, который не может усвоить эту элементарную истину — поймет ли сложную проблему Абовяна? Исследователь, раболепно продолжающий на семнадцатом году революции повторять традиционные национал-демократические, метафизические и неисторические аргументы, был обречен на полное непонимание внутреннего смысла таких сложных процессов, которые происходили в Европе, в России, — которые намечались и с огромными искажениями повторялись в Армении, в тридцатых и сороковых годах прошлого столетия.

Но сделаем наивыгодное для Шахазиса предположение, — сочтем его жертвой, жертвой традиций. Не он один чистосердечно продолжал считать клеветнический бред вчерашних властителей дум за подлинную науку.

Он не первый и, увы, не последний.

Дашнакский «Оризон» устами Лео в свое время объявил, что «народ любит Абовяна за то, что он был певцом зулума» — национального страдания.

Он уверял, что эта народная любовь простирается и «на продолжателей его дела», других певцов зулума армянской страны — Раффи и Агароняна, а значит и на них, дашнакских головорезов, певцом «геройств» которых были и Раффи и Агаронян.

Таков подлинный смысл этой национал-каннибальской клеветы. От подобного «обобщения» до того, чтобы сделать Абовяна ответственным за добровольческое прислуживание царизму, за социал-маузеризм — один шаг. И я вовсе не исключаю возможности появления таких исследователей, которые сочтут за особую коммунистическую добродетель верить дашнакам. Они прикуют Абовяна к колеснице русского царизма и будут особо озабочены тем, чтобы сохранить свою голубиную чистоту и с этой целью за версту будут обходить интереснейшее наследство Абовяна, предоставляя его дашнакским падальникам.

Но что может быть преступнее такого отношения к истории, к

памяти великих просветителей?

Что может быть неблагодарнее такого ответа на руку дружбы, протянутую нам из глубины девятнадцатого века?

Нет! Мы эту руку примем. Мы благодарно пожмем благородную руку мятежного просветителя.

Ни одной живой прогрессивной идеи мы не дадим нашим врагам, как не пощадим ни единой неверной идеи, не оставим неразоблаченным ни одного заблуждения, не пропустим мимо своего критического взора ни одной недоговоренности, недодуманности, половинчатости, не будем мирволить ни одной слабости великих ранних демократов.

В церковной костоломне

Родословная и равняя биография весьма условный материал для больших социологических обобщений, но она обычно содержит в себе непосредственный исходный минимум сведений, который помогает исследователю нащупать те пути и перепутья, по коим стекаются социальные воздействия, аккумулируются первые определяющие социальные ощущения и настроения.

Ранняя биография Абовяна, к стыду нашему, совершенно не исследована. Архив его до сих пор находится в частных руках и в жалком состоянии. Из него нам известны отрывки, которые время от времени вырывали без всякой системы отдельные дилетанты. Ни его дневники, ни его письма, ни черновые наброски нам неизвестны. Даже дата его рождения точно еще не установлена.

Исследователи высказывали много предположений на этот счет. Один из них — К. Тер-Карапетян — в 1897 году обнаружил при просмотре бумаг Абовяна неопубликованную автобиографию его, которую тот писал, по-видимому, для одного из своих студенческих друзей. Она заключает в себе прямые указания на год рождения Абовяна: «Я родился в 1804–1805 году в селе Канакер, в пяти верстах от Эривани (кратчайшим путем), — пишет он, — родительский дом принадлежит к числу заметных и наиболее уважаемых в этих краях».

Спустя пятнадцать лет А — до опубликовал послужной список Абовяна 1847 года, где Абовян собственноручно написал, что ему 38 лет. А — до считает возможным на этом основании опровергнуть указание автобиографии. Годом рождения Абовяна он считает 1809 год.

Вовсе не желая опорочить все свидетельства послужного списка, я должен напомнить, что было бы легкомысленно исключать возможность хронологической ошибки в ответе Абовяна. Он составлен на память и, вероятно, много позже автобиографии.

При отсутствии метрической записи, такого рода документы тем менее достоверны, чем позже они составлены. Память — плохой хранитель хронологии.

Как бы то ни было — время его рождения до сих пор точно не установлено[1].

Отец его был крестьянином; в роду упоминаются эриванские мещане; было время, когда пытались доказывать, что в какой-то легендарной древности предки Абовяна были «благородные мелики», но никто этому не поверил, даже Геральдическое управление, которое было не очень строго к фактам, охотно

раздавая «благородное» звание тамбовским обрусевшим татарам, азербайджанским бекам, грузинским князьям и астраханским армянам. Вспомните курьезный рассказ П. Прошьяна о том, как его астраханский родственник на весьма сомнительных основаниях протащил, их в дворяне. Но даже Геральдическое управление не могло себя убедить в достоверности этой версии. Правда, уверяли позже, будто документы, подтверждающие эту легенду, пропали, но такая своевременная пропажа еще более убеждает историка в его сомнениях. Наконец, не исключена возможность, что род Абовяна имел какие-то связи с духовным сословием. Во всяком случае Абовян в письме к Уварову прямо говорит, что он «происходит из духовного звания».

Семья Абовяна, вероятно, была небогата, по крайней мере если судить по иным стихам и рассказам самого Абовяна, хотя, с другой стороны, связь с эчмиадзинским монастырем указывает, что она и не из бедных, так как монастырские чревоугодники никогда не питали особой слабости к тем мужикам, которые не могли хоть несколько раз в году быть на «богомолье».

Абовян — сын такого средней руки крестьянина.

Девять лет он жил дома, о жизни этой нам ничего неизвестно. Осенью 1815 года отец привел его в Эчмиадзин и отдал монастырским крокодилам на духовное и физическое истязание.

Мы не знаем, как и чему он там «учился», но мы имеем позже упоминание о том, какой след в душе Абовяна оставил этот мрачный духовный острог. «Абовян сказал мне, сопровождая нас в Эчмиадзин, — рассказывает Боденштедт, — что он вступает в эти древние стены с дрожью, до того невыносимы были те впечатления, которые он получил в юношеские годы и которые никогда не сглаживались в его памяти. Неоднократные попытки к побегу неизменно кончались неудачно и давали повод к тому, что с ним обращались все более строго»… «Так он вырос в слезах, молитвах и постах, в дикой, неспособной ни к чему благородному, неестественно чувственной обстановке».

Через шесть лет он перебрался в другой монастырь — Ахпат. Сколько времени он пробыл там и что делал — тоже неизвестно. Выясняется только, — опять-таки по рассказам, — что в 1821 году он перебрался в Тифлис «для усовершенствования» в науках, что года два он учился у епископа Погоса, пока в 1823 году не была открыта семинария Нерсеса, куда он и поступил. Учился он, как в импровизированной школе Погоса, так и в семинарии, хорошо.

«Получив первоначальное воспитание в эчмиадзинских кельях, Абовян переселился вместе со своим покровителем (духовным отцом) епископом Антонием в Ахпатский монастырь, — рассказывает Назарян, — отсюда, затем

переселившись в Тифлис, он был передан архимандриту Погосу из Карабаха, который, начиная с 1816 года, обучал учеников в своей келье при Тифлисском монастыре. Абовян, как и другие юноши-армяне, к числу которых принадлежал и пишущий эти строки, трудился с утра до ночи, ломая голову над грамматикой Чамчяна, над риторикой. Архимандрит Логос мог обучать лишь механически, не будучи в силах оживлять свое преподавание, старое, мертвое армяноведение, которое и было единственным предметом учения. И нужно сказать, что этот учитель дал своим ученикам больше побоев, чем знаний. Такова была тогдашняя армянская учеба и в этом «виноват был не архимандрит Погос, а его грубое и темное время.

Неуместно было бы мерить прошлое по нашим прогрессивным и естественным временам.

С открытием в 1823 году в Тифлисе училища Нерсесян, с установлением там новых методов обучения приглашенным из Москвы Арутюном Аламдаряном, — Абовян и мы, его товарищи, перешли в это училище, где кроме армянского языка можно было хоть немного обучиться русскому, персидскому, а позже и французскому языку. Абовян, обучаясь до 1828[2] года и будучи старше по возрасту, выделялся среди своих товарищей вдумчивостью, особенно же исключительной памятью.

Больших знаний он из этой школы не вынес, как и ни один из нас, да и невозможно было вынести что-нибудь из этого бессистемного жалкого ученья, но справедливость требует указать, что в некоторых из нас эта школа посеяла семя живого стремления к знаниям».

Вот вкратце тот мучительный путь, который прошел Абовян в юности. В этой обстановке у него зародилась идея культурного монастыря, который взял бы на себя великое дело просвещения народа.

«Пятнадцати лет я читал деяния Луки Ванандеци, Симеона Католикоса, Мхитара Аббата и других отцов и мечтал самому по мере сил быть полезным моему народу…» — пишет он. Целые дни прислуживая старым невеждам, безграмотным и бездарным духовным чинодралам, Абовян проводил ночи напролет в размышлениях над судьбами тех, кого он оставил за монастырскими стенами, мечтая о возможности для них просвещения без мучительных унижений, которые выпали на его долю. Мысль его вращалась в привычных рамках церковных преданий, идеи выливались в обычные готовые формы церковного реформаторства, в голове складывались контуры нового просветительного возрождения угасающей и тонущей во тьме и разврате церкви.

Понукаемый варварами, циниками, сребролюбцами и предателями он создал себе идеал нового церковника, какого-то воображаемого культурного братства, своего рода конгрегацию[3] Мхитара Аббата в сердце Армении, где будут работать просвещенные монахи, служители народа, чистые и непорочные, причем и задачи этого братства он представлял совершенно аналогичными тем, которые осуществлял католический поп в Венеции, только на почве и в пределах грегорианской ортодоксии.

Побывав в Тифлисе и «усовершенствовавшись» там в науках, он не смог отделаться от этой идеи, и стал настойчиво искать случая съездить в Италию к мхитаристам. Он жаждал воочию видеть этих «идеальных» попов, так непохожих издали на эчмиадзинских насильников, так ловко и по-иезуитски святошествовавших в своей литературе. В своих «Ранах Армении» он рассказывает, как он, оставив семинарию Нерсеса, поехал к католикосу, чтобы проситься в Венецию: «Тогда я ушел из училища и отправился из Тифлиса в Ахпат к католикосу Ефрему, чтобы заручиться бумагой, съездить к родителям и с ними эмигрировать в Венецию. Все уже было готово, из Османлу приехал священник с сыном и намеревался вернуться обратно. С ними хотел выехать и я, но портной не успел с одеждой… Как я был опечален, что. они уехали, а я остался».

Фридрих Паррот. 1828 год. Литография Клюндера. (Музей изобразительных искусств)

Он остался — и эчмиадзинские бездельники решили облагодетельствовать Абовяна. Его назначили на служение архимандриту Антону, «а потом — архиепископу Ефрему», дав ему звание диакона. После смерти Ефрема, Абовяна назначили «переводчиком и писцом католикоса».

Это было не первое его поражение. Но оно не привело его в отчаяние: он продолжал упорные поиски путей к воплощению своей мечты. Он ощущал потребность новых путей, но был бессилен наметить эти пути вне пределов религии. На его плечах

лежал груз церковных традиций. Самое смелое, до чего мог дорасти в этой обстановке измученный противоречиями Хачатур-дпир[4] — была мечта о новой реформации.

Смутные передовые идеи бродили в голове Абовяна, но ни осмыслить до конца, ни поставить их правильно он не мог, он стоял обеими ногами внутри древних стен Эчмиадзина, искал пути в землю обетованную на церковной почве, надеялся вывести свой народ к светлому будущему через узкие ворота монастыря, хотя бы и реформированного и, к великому своему несчастью, не видел, не замечал, не сознавал и не мог сознавать, что эти ворота ведут в тьму, в варварство, в одичание, что этот путь есть путь полного социального паралича того народа, интересы которого он так пламенно хотел защищать.

Паррот застал его в этом тревожном состоянии духа, когда осенью 1829 года приехал, чтобы взойти на вершину Арарата. Образованный «переводчик и писец католикоса» естественно был первым приставлен к Парроту. Абовяна рекомендовали ему еще в Тифлисе, поэтому ученый профессор был очень рад согласию молодого дпира сопровождать его в интересном и ответственном путешествии.

С Парротом на Арарат

Дальнейший рассказ я предоставляю участникам этого смелого восхождения. И так как для нас сейчас особый интерес представляют впечатления и мнения приезжего ученого, то послушаем сперва его.

Въезд в араратскую долину вызывает в Парроте много всяких волнующих мыслей о всемирно-исторических судьбах человечества и особенно того его отряда, который издревле населяет эти долины.

«Охваченный такими чувствами, я проехал последний отрезок моего пути и достиг пополудни 8 сентября монастыря, чьи ворота гостеприимно были открыты передо мною. Я счел недостойным выпросить у тифлисских властей рекомендацию к высшему духовенству Эчмиадзина, а удовлетворился частным письмом армянского архимандрита в Тифлисе по имени Арутюн Аламдарян, человека, в подлинном смысле созданного для просвещения своего народа и на пользу его, вЫходившего и почти в единственном числе управлявшего армянской школой в Тифлисе».

Письмо Аламдаряна было адресовано архимандриту О. Тер-Марукяну, но последний не владел ни одним из тех языков, на котором мог изъясняться Паррот. Поэтому он вызвал переводчика. «Этот переводчик был юный монах, в звании диакона, который получил свое образование и свое изрядно беглое знание русского языка от Аламдаряна и своим открытым умным взглядом, как и скромным поведением, произвел на меня превосходное впечатление».

Паррот посвятил дни пребывания в монастыре изучению истории обитателей края и этнографическим наблюдениям. Когда через два дня собрались выехать из монастыря, к ним присоединился и молодой диакон.

«Наше путешествующее общество получило в монастыре небольшое приращение. Существенное для нас подкрепление пришло в лице ранее упомянутого диакона Хачатура Абовяна, которого нам представил монастырь на время нашего пребывания на Арафате. Он был необходим нам и как член братства для некоторых особых поручений в армянских поселениях, и как переводчик, знающий армянский, русский, татарский и персидский языки. Сверх того, молодой человек выказал такое искреннее и бескорыстное желание сопровождать нас, что мне сразу стало ясно, что он оживит наше предприятие своим искренним расположением и способствует его успеху.

Мои ожидания оправдались вполне. От первого до последнего часа при всех обстоятельствах он держался так, будто наше дело было его делом.

Благодаря его живой любознательности, его скромной преданности, его умеренности и благочестию, как и ясности ума, духа, выносливости, он заслужил наше внимание и благодарность».

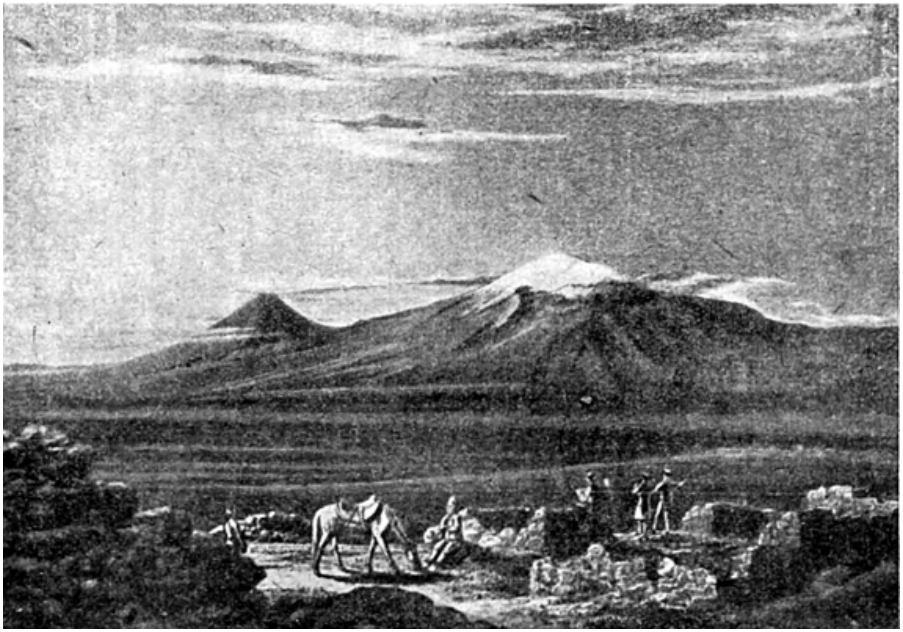
10 сентября в десять часов утра караван отправился к подножию Арарата. В четыре часа достигли левого берега Аракса, переправились и к семи часам вечера прибыли к берегу Сев-Джура (Кара-Су), где и расположились на ночь.

На следующий день, решив начать подъем с Аргури, «мы вдвоем с диаконом Абовяном поднялись в деревню. Остановились средь площади и вызвали туда старосту села по имени Стефан-ага».

Староста помог организовать обоз для перевозки имущества, пригласил их в свой сад и угостил виноградом. Местом стоянки лагеря, однако, Паррот решил избрать монастырь святого Якова, как это советовал и Аламдарян.

Одиннадцатого числа, проехав Аргури, они остановились в монастыре. Изучив вблизи Арарат, Паррот нашел, что рисунков, передающих правильно общий пейзаж горы, немало. «Удачным я считаю и свой набросок акватинтой общего вида Арарата с села Канакер, родины моего молодого друга Абовяна».

12-го с утра Паррот с Шиманном сделал первую разведывательную поездку, окончившуюся неудачно: за крутизной избранного направления они не смогли подняться высоко и вынуждены были вернуться. Погода в эти дни значительно ухудшилась. Дни тянулись в местных изысканиях.



Большой и Малый Арарат. Вид из Канакера. Рисунок Паррота из его книги «Путешествие на Арарат», Берлин, 1834 год

Наконец, 18-го «мы были готовы ко вторичному подъему. Около 8 часов мы двинулись в путь. В караване находились фон-Бехагель, Шиманн, диакон Абовян, четыре армянских крестьянина из Аргури, три русских солдата 41 егерского полка и один погонщик четырех наших быков.» Примечательной фигурой каравана был 53-летний крестьянин Стефан Мелик из Аргури, который вызвался принять участие в подъеме. Переночевали на высоте 12346 парижских футов. Утром поднялась снежная буря и каравану пришлось вернуться, достигнув высоты 15138 футов.

Опять тянулись дни непогод и мелких естественно-исторических наблюдений.

Только в ночь на 25-е наступило прояснение. «Утром, — говорит Паррот, — я спросил Стефана-ага, примет ли он участие в новой попытке, на что последовал отказ», но он всячески способствовал набору крестьян и быков. Абовян же сопровождал и на этот раз. «Опыт прошлых попыток научил меня, что успех дела требует, добраться к ночи возможно ближе к снежной линии, чтобы в один день оттуда можно было взобраться до вершины и вернуться обратно.

…Мы ехали той же дорогой, что и прошлый раз и, чтобы сохранить силы, я и Абовян ехали верхом до тех пор, пока это позволяла каменистая почва, почти до ледяной равнины Кип-Геол, но лошадей тут не оставили, а отправили обратно с одним специально для этой цели взятым казаком. В половине шестого

мы были уже недалеко от снежной границы на высоте 13036 футов и решили сделать привал и отдохнуть. Развели огонь и занялись приготовлением еды. К сожалению, Абовян не мог принять участия в нашей трапезе, ибо он постился в виду предстоящего церковного праздника. Столько напряжения и забот, а тут еще пост! Да, именно, причем постился он просто, без усилий и не осведомив меня заранее, чтобы я озаботился захватить ему постной еды. Ему пришлось подкреплять свои силы исключительно чаем и перцовой настойкой, потребление которых не противоречило церковным правилам».

Крестьяне-армяне оказались не менее богобоязненны. Вечер был великолепный, небо ясное, вершина горы совершенно открыта, температура 4,5 градусов тепла.

«Как только забрезжило утро, мы вскочили и приступили в половине шестого к продолжению нашего путешествия».

«Четверть четвертого по-полудни 27 сентября 1829 года мы достигли вершины Арарата».

Профессор физики первым делом занялся всякими измерениями, желая максимально использовать для научных работ то короткое время, какое он мог провести на такой высоте.

«Оглянувшись после этих размышлений, я не нашел среди моих спутников верного Абовяна: «он устанавливает крест», — ответили мне. Я сам намеревался сделать это как раз в центре круглой плоскости вершины, которая казалась мне более всего надежной и доступной. Абовян же в благочестивом усердии взял этот труд на себя и нашел на северо-восточном обрыве вершины более подходящую точку для установления креста: он правильно заметил, что если бы крест был водружен в центре вершины, то тогда он вовсе не был бы виден из долины вследствие своей незначительной вышины. Он даже решился на большее: чтобы крест можно было видеть не только из долины, но и из монастыря св. Якова и села Аргури, он с опасностью для жизни спустился по крутому откосу на 30 футов ниже нашего местонахождения (вот почему мне его не было видно). Я застал его занятым выдалбливанием углубления во льду для закрепления креста. Мне показалось, что выбранное им место не совсем благоприятно для этой цели, ибо большое скопление льдов на откосе повело бы к постепенному или внезапному обвалу ледяных масс, вследствие чего вскоре же исчез бы единственный знак нашего пребывания на вершине. Тем не менее я согласился оставить крест на этом месте и разрешил Абовялу доделать начатое им дело».

Таким образом вершины Арарата караван достиг в числе шести человек: «Кроме меня, Хачатур Абовян — диакон из Эчмиадзина, сын крестьянина из Канакера, что близ Эривани,

Алексей Здровенко и Матвей Челпанов — солдаты 41 егерского полка, Ованнес Айвазян и Мурад Погосян — крестьяне села Аргури.

Диакон, несмотря на свои 20 лет и на привычку к тихой монастырской жизни, ни на одно мгновение не отклонялся от усилий, которых требовало наше предприятие. В продолжении всего пути обнаруживал присутствие духа, постоянство и высокое воодушевление к достижению цели. Смиренное желание сопровождать нас, которым он проникся еще в Эчмиадзине, благополучно вело его через скалистые ущелья по ледникам Арарата, несмотря на совершенно неприспособленное к тому монашеское одеянье, состоящее из трех длинных сутан.

И на вершине он не подумал об отдыхе, он был озабочен водружением креста. Выполнив все, он решил донести в платке с вершины до монастыря большой кусок льда.

Побыв на вершине около трех четвертей часа, мы должны были вернуться обратно, предварительно закусив и сделав возлияние в честь праотца Ноя».

Большой и Малый Арарат. Вид из деревни Сирбакхан. Рисунок Паррота из его книги «Путешествие на Арарат», Берлин, 1834 год

28 сентября к полдню экспедиция благополучно спустилась в монастырь св. Якова.

«По возвращении с вершины Абовян нашел в монастыре распоряжение из Эчмиадзина покинуть нас и — незамедлительно проследовать в свой монастырь. Несмотря на то, что это противоречило расчетам, что это расходилось с соглашением, достигнутым в Эчмиадзине и никаких видимых причин для нарушения его не было, я все же отпустил юношу, написав

вежливое письмо отцу Иосифу, в котором выразил свое мнение и ожидания.

По возвращении в Эчмиадзин диакон сейчас же был вызван собравшимися духовными и должен был дать подробное объяснение о нашем восхождении на вершину Арарата. Он передал высокому начальству бутылку с водой от растаявшего льда, захваченного с вершины. Некоторые ее пробовали, а другие обрызгивали ею лицо, и все смотрели на нее, как на редкую ценность. Они были так любезны, что долго не задержали диакона и на третий день он вернулся с довольным видом в монастырь св. Якова».

Жили в монастыре и делали экспедиции в окрестности Арарата с целью геологического и естественно-исторического изучения. Абовян всюду сопровождал то Паррота, то кого-либо из ученых в различные окрестные села.

26 октября все вновь оказались в сборе. Решили подняться на Малый Арарат. Пешком дошли до Аргури, захватили с собой знакомого уже Саака и его брата Ако и отправились. Переночевав у седловины двух Араратов, 27 октября в одиннадцать часов достигли вершины. В течение часа произвели там научные наблюдения и вернулись обратно.

«Наградив и отпустив приставленных к экспедиции четырех солдат, мы покинули монастырь св. Якова в сопровождении двух донских казаков. Решили заехать, по приглашению диакона, по пути в Канакер, в его родное село, которое находится в шести верстах от Эривани. Там жили его родители, братья и сестры, несмотря на то, что большая часть села разрушена во время русско-персидской войны. По своему расположению это очень красивая местность, лежащая на склоне суровых, но прекрасных геоктайских гор на высоте 4148 футов над уровнем моря. Оттуда открывается красивый вид на Арарат. Здесь мягкий, чистый, здоровый воздух. В Канакере мы встретили очень радушный прием у отца молодого диакона. Задерживаться однако там долго не имели возможности, а потому, наняв пять почтовых лошадей для наших вещей, мы двинулись далее в путь». 20 октября к полудню отъехали из Канакера и направились на север через Баш-Абаран.

Таков рассказ главы экспедиции, который я привел в самых общих контурах, дословно цитируя лишь те места, где Паррот рассказывает об Абовяне.

Последний также сделал попытку описать это знаменитое восхождение. По его, словам, этот литературный очерк был сделан еще в бытность его в монастыре св. Якова, то есть во время самого путешествия. До нас рукопись Абовяна дошла без

окончания. Написана она на древне-армянском языке, неуверенно, но с огромным воодушевлением. Ниже я приведу из нее лишь несколько отрывков, дополняющих и по-особому освещающих обстановку.

«Будучи их переводчиком, с их стороны я нашел много внимания и человеколюбия, спросил и узнал цель их приезда. Когда, спустя два дня, они готовились выступить, я попросил захватить с собой и меня, как переводчика и помощника в их предприятии. 10 сентября мы отправились в монастырь св. Якова и, не прибыв туда, переночевали на берегу Сев-Джура (Кара-Су), которая вытекает из подошвы Масиса и вливается в Аракс. Река на всем протяжении заросла камышами, кои являются местом разнообразной охоты и прикрытием диких зверей.

Утром сотрудники Паррота вели изыскания: кто снимал топографию, кто собирал насекомых, другие — растения. Все это заняло около двух часов, после чего двинулись к упомянутому монастырю, находящемуся близ села Аргури, на склоне Масиса, окруженному невысокими холмами. Жители села, как и настоятель монастыря архимандрит Карапет, приняли нас радушно, предоставляя постой и жилье до окончания путешествия.

На следующий день, нисколько не задерживаясь, господин профессор, пригласив с собой одного зоолога, который был хорошим охотником и одного крестьянина по имени Саак, знакомого с окрестностями, поднялся на гору с восточного склона. Но их постигла неудача вследствие отвесной крутизны склона».

Этот опыт принудил их искать новых путей, внимательно расспрашивая крестьян, которые обрыскали всё, окружающее вершину, о наиболее легких и удачных путях подъема. Владетель Аргури Степан Ходжанц посоветовал испробовать западное направление. Наблюдая с большим интересом за подготовкой к подъему, Абовян изъявил желание сопровождать Паррота на вершину, но профессор противился, «оберегая меня, непривычного, уверяя, что я не смогу вынести те трудности, против которых они вооружены. И в самом деле, они имели остроконечные палки и обувь с железными шипами, отсутствие чего действительно могло служить мне препятствием. Несмотря на это, уступая моим настойчивым просьбам, он изъявил согласие и я отправился с ними. Нас было: сам профессор, г. Бехагель и Шиманн, Степан Ходжанц, — шестеро провожатых крестьян и двое солдат. 18 сентября мы отправились в западном направлении по непривычным горным тропам и достигли подошвы маленького холма, который возвышался над

местностью, называемой Кип-Геол. За поздним временем не смогли следовать далее и переночевали». Свирепые морозы становились все более и более опасными.

На следующий день, захватив необходимую одежду и немного хлеба, путешественники начали подъем. По пути они встречали большие затруднения, нагромождения камней, отвесные крутизны, там и сям в долинах глубокие снега, но все же шли беспрерывно. В двенадцатом часу, не достигнув вершины, попали в беду: густой туман закрыл вершину и начался буран. Спасаясь от гибели, путешественникивынуждены были вернуться. Наивысшей точкой подъема оказались 15000 футов, где они водрузили крест с надписью.

Трудности и неудачи, которые последовательно постигали их, не остановили профессора: он твердо решил достичь намеченной цели.

Но чем более росло нетерпение путешественников, тем упорнее нависало на вершине облако, ветры нагоняли мглу и черные тучи. Члены экспедиции не тратили даром времени: кто занимался астрономическими наблюдениями, кто ботаникой, а другие рисовали и делали топографическую съемку местности. Через несколько дней наступило успокоение стихии, разрядились тучи, воздух и горы прояснились и Масис показался во всем своем блеске.

Профессор решил начать новое путешествие, но спутники его, испытавшие непостоянство погоды и учитывая грозящие опасности, отказались сопровождать его. «26/IX мы наняли шестерых крестьян и начали восхождение с той же западной стороны. Прелестно было это путешествие, ибо намеревались подняться на Масис, но — трудности и сомнения, постоянно возникающие, смущали нашу душу, дорогой без числа спрашивали мы друг у друга, удастся ли в третий раз вернуться живыми и здоровыми». Их не оставляли заботы и сомнения. Подбадривал их Паррот, который мужественно преодолевал трудности и поднимал настроение всех стойкостью. Переночевав у самой границы снегов, на месте прошлой стоянки, утром они нашли Арарат чистым от туч, освещенным солнцем, дул легкий ветер. Учитывая благоприятную обстановку, они без замедления начали подъем. Достигнув предельного пункта прошлого подъема, они оставили четырех крестьян. Оставшиеся двое крестьян рубили на льду ступени, так как было скользко, не было нового снега. Поднялись на вершину. «Глаза мои, — признается Абовян, — от сильного волнения наполнились слезами». Оставалось два часа до заката солнца. «Спускаясь, я захватил с собой с вершины кусок снега, который хотя и растаял, но воду от

него я довез до Эчмиадзина. К поздней ночи вернулись к месту ночлега. Весь путь на вершину и обратно проделали в течение десяти часов, из них полчаса оставались на вершине».

Так рассказывают об этом интереснейшем восхождении участники. Рассказы скупо деловые. В них отсутствуют те детали, которые одни и могли бы восстановить перед нами картину интенсивного интеллектуального возбуждения, несомненно Абовяном пережитого в обществе ученых путешественников.

Такова фактическая сторона этого смелого восхождения. Паррот был изумлен воодушевлением молодого монаха. Окруженный невеждами, суеверными попами, изуверами и кликушами, Абовян сохранил в себе пытливый ум, ясный и трезвый мужицкий взгляд на вещи, живое стремление к познанию, любовь к истине и пиетет перед наукой. Все это трудно втискивалось в черную сутану диакона, — вот что должно было поразить более всего Паррота.

Мы не имеем сколько-нибудь точных сведений о том, что говорил Хачатур-дпир Парроту, но я думаю, нисколько не противореча истине, можно утверждать, что многие часы Абовян вдохновенно рассказывал Парроту о планах религиозного реформаторства, о мрачном застенке монастырей, о темноте народной и необходимости просвещать его…

Паррот был европеец, глубоко образованный человек, но в его сознании, как и в сознании сотен и тысяч его собратьев, были темные прорывы, он совмещал религию со служением науке. Разумеется, трудно верить, чтобы профессор физики, человек проведший юные годы в эпоху Наполеона, слышавший в детстве последние раскаты Великой французской революции, так основательно поколебавшей все троны небесных и земных царей, чтобы такой человек мог быть религиозен в том непосредственном и наивном смысле, в каком это понятие мы применяем к Абовяну.

Вероятно, его вера была рациональной, его благопристойность — по отношению к библейским легендам почтительно скептической. Когда он на вечных снегах Арарата не находит остатков Ноева ковчега, он почти с юмором успокаивает религиозных гусей, высказывая предположение, будто эти обломки погребены под снегом.

Не какая-нибудь церковь, а церковь вообще, не определенная секта, а христианство как отвлеченное учение. Вот каково верование Паррота, и этот своеобразный космополитизм помогает ему понять стремления молодого дпира.

А поняв его, он сразу увидел, в чем уязвимое место плана Абовяна: просветитель сам должен быть просвещен. Паррот —

человек науки и хорошо знает, что нельзя не только просвещать других — целый народ, но даже додумать план конгрегации и нельзя руководить братством, которое хочет организовать — Абовян, без знаний, без систематического учения, без внутренней идейной дисциплины.

Не думайте, что Паррот рассчитывал, будто просвещение изменит направление исканий Абовяна. Все говорит за то, что Парроту избранная Абовяном форма просветительства как раз и должна была казаться всего более достойной и приемлемой. Именно поэтому он берет на себя заботу устроить отправку Абовяна в Дерптский университет и обещает выхлопотать стипендию у министра просвещения.

Окрыленный этими обещаниями, молодой дпир обращается в Синод с просьбой об отправке его с Парротом. Его прошение от девятого октября 1829 года встречает ледяное равнодушие синодских заседателей. Отказ однако его, не обезоруживает. Уговорившись с Парротом, он с нетерпением ждет решения своей судьбы в Петербурге.

Парроту действительно удалось в Петербурге склонить князя Ливена принять на государственный счет первые издержки и обеспечить Абовяна на три года стипендией.

Трудно сказать, что именно Паррот приводил в подкрепление своего ходатайства. Одной только ссылки на пламенное желание молодого дпира учиться самому и просвещать свой народ, несомненно, для чиновников Николая I было слишком мало.

Молодой Паррот действовал, разумеется, через своего отца, пользовавшегося значительным влиянием в придворных и министерских кругах. Но и в этом случае аргументы были, вероятно, более сложные, чем ссылка на личные достоинства Абовяна. О них нетрудно догадаться, прочитав приветствие министра, обращенное к Абовяну, когда последний явился к нему на обед по его приглашению. «Ваша преданная служба правительству, — сказал князь Ливен, — ваша любовь к знанию, ваш патриотизм достойны большой благодарности. С божьей помощью вы ее получите, удачно усвоив науки, как вы того желаете», — так передает содержание речи Абовян в письме из Петербурга к своим друзьям[5].

Намерения его искать просвещения в чужих краях встретили резкую оппозицию среди окружающего духовенства. Особенно противился глава всех духовных невежд — католикос Ефрем. Абовяну стоило огромных усилий преодолеть это сопротивление. Но он мужественно боролся, пока не победил косность, варварство и ксенофобию непрошенных попечителей.

Социально-классовые условия в Армении

Для историка в приведенных нами биографических фактах есть обстоятельство, которое нуждается в подробном освещении. С первого знакомства кажется трудно разрешить вопрос о том, какие силы вызвали тот духовный и умственный мятеж, который застал в Абовяне Паррот и который его так поразил, что он взялся устроить судьбу будущего писателя. Беспричинно такие события не разворачиваются, без солидной социальной почвы такие всходы не пробиваются на поверхность, не тянутся к солнцу. Появление таких мятежных натур в какой-либо среде лучше всего свидетельствует о том, что внутренние процессы достигли уже значительной степени зрелости и вполне поддаются изучению.

Какие же это процессы?

Паррот приехал в Армению неполных два года спустя после того, как прошла гроза русско-персидской войны и всего год спустя после туркменчайского мира, объявившего Армению русской провинцией.

Что представляла собой эта страна до присоединения ее к России?

Вплоть до первого десятилетия XX века Персия существенных изменений не пережила и сохранила свой внешний облик собранной воедино слабым государственным обручем центральной власти сатрапий. Бесчисленные местные сатрапы, самодержавно законодательствовали каждый на своей территории, управляли по своему усмотрению, устанавливали налоги по своим потребностям и чинили суд по собственному произволу. Бесчисленная челядь, служилый сброд, родственники, друзья, — вот кто окружал каждого из этих маленьких сатрапов. Все эти около-сатрапы в своей области, в свою очередь, действовали с неменьшим произволом, создавая, таким образом, совершенный хаос.

Этот хаос всей своей разоряющей тяжестью ложился прежде всего на плечи крестьян. Грабежи, бесчисленные подати, бесконечные повинности, жалкий уровень средств производства, крайняя непроизводительность труда, отсутствие каких-либо гарантий личной собственности и накоплений — все это приводило к нищете, деградации и хозяйственному развалу деревни.

Наряду с тем, после завоеваний Петра и открытия сквозного пути из Персии в Россию, одновременно с ростом транзитной

торговли, около больших городов, расположенных на транзитном пути, — медленно образовывалась известная сфера денежного обращения.

Торговый капитал — не тот капитал, который способен выбросить идейное знамя, собрать народ вокруг национального знамени, вокруг демократической революции. Торговый капитал сам но себе оппортунистичнен, приспособленец принципиально, он очень легко и сравнительно безболезненно входит в общее русло господствующего правопорядка.

Но это до поры до времени. Субъекты торговой деятельности легко соглашаются с господствующим порядком, а торговля, а деньги, а вкореняемый чистоган ведут медленно подкопную работу под эти порядки. Социальные последствия такой подспудной работы нисколько не зависят от желания и намерения купеческих гильдий. Купечество весьма «добросовестно» предано феодальным магнатам и в то же время каждым следующим расширением купли-продажи, самым фактом своего расширения и укрепления, оно помимо своей воли изменяет феодализму. Развертывание и процветание торгового капитала означает укрепление денег, как обменного средства, создание рынка, увеличение товарооборота, вовлечение в товарный оборот все большей массы продуктов сельского хозяйства, создание благоприятной обстановки для развития ремесла и товаропроизводства в более или менее широком масштабе, а значит — вызывает потребность в промышленном капитале и создает условия для его процветания.

Торговый капитал — самый хищнический и самый социально мало плодотворный и мало прогрессивный вид капитала, это верно. Но именно он в борьбе за рынок создает первые предпосылки для собирания нации, проводит первые разведывательные работы и устраивает перекличку через рынок, через конкуренцию между хозяйственными островками, разбросанными в дробной мозаике феодальных сатрапий.

Все это создается как продукт его деятельности, чаще всего помимо и вопреки его воли, медленно десятилетиями, но неизменно: и систематически. Сам по себе торговый капитал из своей среды и в своей среде абсолютно не в силах породить социальную и политическую программу демократизма, но на почве, подготовленной им, из элементов, вызванных им в водовороте рынка и конкуренции, выдвигаются люди, способные отражать с большей или меньшей отчетливостью программу нового общества или ее отдельных частей.

Не торговая буржуазия, а городская ремесленная мелкая буржуазия, вовлечена в рыночную конкуренцию, тонкий слой

близгородского крестьянства, первые представители интеллигентного труда, известные низовые слои духовенства, — вот тот первоначальный материал, из которого собирается конгломерат людей, активно недовольный строем феодального произвола. Это они предчувствовали, предшествовали, выявляли, отражали рост подспудного капитализма. Там, где нет этого конгломерата, там нет условий для возникновения демократического сознания, представляющего колоссальный шаг вперед и являющегося первым свидетельством движения страны к подлинной европеизации.

Будем еще точнее: буржуазно-демократические идеи вызревают по мере того и параллельно с тем, как капитализм вытягивает из разных непривилегированных слоев передовые разведывательные группы и создает из них армию разночинцев, которая еще пестра унаследованными предрассудками, но уже едина в своем отрицательном отношении к феодализму. Такой социальный конгломерат еще не имеет и не может иметь на этой стадии единой и отчетливой программы, его роль и социальная заслуга в формировании недовольства, в подготовке людей к мысли, что дальше так жить нельзя, что нужен коренной и решительный переворот.

Девятнадцатый век застал в городах Армении значительную группу такого разночинного протеста. Постоянные оглядывания в сторону России имели источником не только стремления купечества и торговой буржуазии открыть для себя ворота гарантированного рынка, — это было конечно, одним из важнейших стимулов, — но также служили показателями того, что значительные слои крестьянства и городской мелкой буржуазии хозяйственно доросли до острой нужды в более или менее упорядоченном правопорядке. Никогда ни один поп, ни один купец, ни один князь не смог бы поднять огромные массы крестьян на подмогу русским, если бы эта масса не ощущала потребности в устойчивых порядках.

И я считаю, что обычное представление об армянской деревне, как деревне патриархальной, с замкнутым хозяйством, ошибочно. При нужде нетрудно концентрировать достаточное количество экономических фактов, доказывающих, что продолжавшаяся около столетия транзитная торговля глубоко внедрила деньги в мужицкий обиход, что начавшийся процесс накопления естественно требовал элементарных, самых первобытных гарантий, что именно в поисках беспрепятственного и легкого сообщения, какой-то минимальной физической безопасности, элементарнейших прав личности, права накопления и обогащения, самой первобытной законности, — что

только в поисках этих первоэлементов гражданских прав сотни и тысячи разночинных героев вошли в ряды русской армии. Эти глубоко почвенные потребности и создали атмосферу сочувствия русскому владычеству на первых порах, пока последнее не обнаружило еще своего собственного жала против мужицкой и городской демократии.

Но ведь эти идеи по сути дела буржуазные идеи?

Совершенно правильно. К моменту формирования сознания Абовяна в среде городской разночинной мелкой буржуазии вполне назрела потребность новых отношений. Абовян был житель окологородской деревни, почти предместья одного из узловых центров торговли, подготовка и борьба за освобождение из-под ига персидского произвола прошла при его активном участии, он был одним из решительных сторонников русской ориентации, учеником энергичного, расчетливого и хитрого Нерсеса, самого яркого выразителя и защитника точки зрения и интересов армянской буржуазии, преимущественно ее купеческой прослойки.

Социально-классовые источники, питавшие клерикально-просветительную программу деятельности, которую себе выработал Абовян, уходили в ту тонкую разночинную прослойку, которая составляла очень далекую по сознательности, но чрезвычайно близкую и родственную по своей природе аналогию с третьим сословием во Франции и разночинством в России.

Убийственная идейная отсталость, какою характеризуется идеология этой прослойки (буржуазно-демократические непосредственные требования и глубоко реакционная программа) была обусловлена крайней хозяйственной отсталостью страны.

Торговый капитал растолкал себе дорогу, внедрил деньги в обиход, создал рынок и конкуренцию, вовлек в сферу воздействия рынка значительные прослойки деревни, но он не создал еще достаточной базы для развития промышленного капитала со всеми сопутствующими революционными явлениями. Производственно — страна еще стояла на неизмеримо низком уровне. Естественно, она была не в силах сама из своих средств породить не только законченно демократическую программу, но даже последовательно и окончательно сформулировать те демократические лозунги, которые должны были служить исходными для ее развития.

Нужно было проснувшуюся потребность оплодотворить западной культурой, нужно было освещать свой опыт знанием, добытым на основе развития капиталистических стран, нужно было направление своего будущего развития определить инструментами, испытанными уже чужой историей.

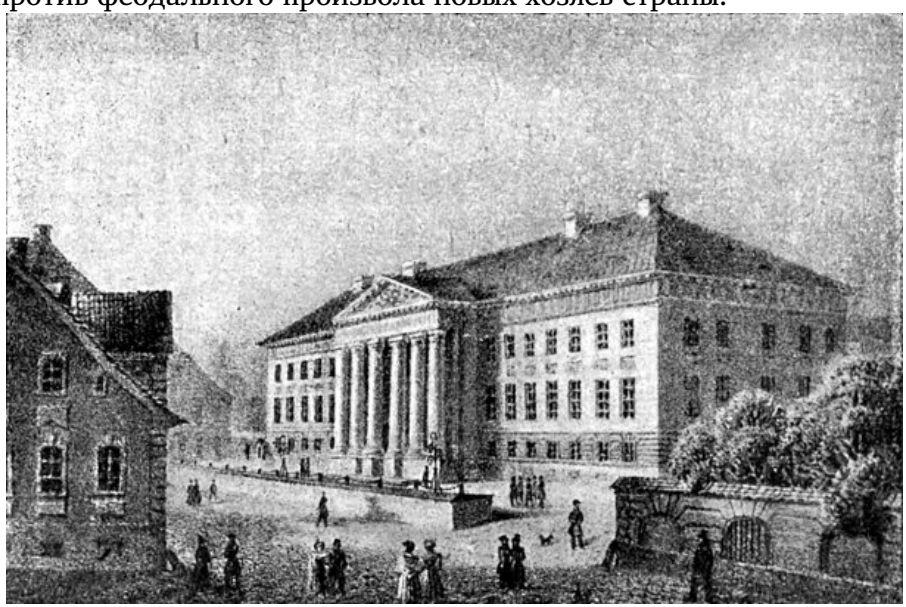
Эта тяжелая и почетная работа выпала на долю Абовяна, решившего ехать в Дерпт. Он инстинктивно чувствовал великую потребность эпохи и ехал туда со всеми задатками, со всеми социальными предрасположениями, необходимыми для реализации этой важнейшей задачи.

По индивидуальным задаткам никто более Абовяна не был к тому приспособлен.

В Дерпт за знанием

Уже в январе 1830 года министр народного просвещения, князь Ливен, извещал графа Паскевича о состоявшемся «решении в пользу Абовяна и об условиях будущего его казенного содержания. 25 марта он распорядился препроводить Абовяна в Дерпт, выдав ему двести рублей серебром. Граф Паскевич, в свою очередь, 4 мая сделал распоряжение тифлисскому военному генералу-губернатору Стрекалову добыть средства на его содержание.

Пока бюрократический аппарат с душераздирающей медлительностью решал столь «сложный» вопрос. Абовян в Эчмиадзине был неприятно изумлен не первым, но наиболее бросившимся ему в глаза произволом русской администрации. Диктатор Армянской области Бебутов самым бесцеремонным образом вмешался в церковные дела и добился назначения своего кандидата на пост руководителя Астраханской епархии. Такой «персидский» произвол так поразил Абовяна, что он написал секретное письмо Аламдаряну, полное грусти и весьма знаменательное своим неосознанным и неясным протестом против феодального произвола новых хозяев страны.



Дерптский университет. 1830 год. Литография Шлатера. (Государственный исторический музей)

Но этот протест дальнейшего развития не имел, ибо уже в июне наступило, наконец, время отъезда. Его «духовные отцы», которые всячески противились отъезду, умыли руки, когда

получили предложение властей предержащих, в июне Абовян выехал в Тифлис, а 11 июля направился в дальний путь. В письме из Дерпта от 13 сентября 1830 года (даже позже — «Андес Амсоря» письмо датирует 13 августа по ошибке) он пишет:

«11/VII, как уже писал Вам, я выехал из Тифлиса на казенный счет. 18 августа приехал в Москву, 25 — в Санкт-Петербург и 3 сентября в Дерпт. Последний — немецкий город, где проживает немецкий путешественник и благодетель мой — профессор Паррот… В Москве представился архимандриту Микаэлу Салладяну… В СПБ представился министру просвещения князю Ливену и имел честь дважды быть ему сотрапезником». Хорошо зная нравы своих непрошенных попечителей, их дикую злобу и варварскую ревность, он успокаивает их, сообщая, что в Дерпте проживает под непосредственным присмотром профессора Паррота, который запретил ему общение с чужими религиозными учениями, велит хранить все родные обычаи, посты, творить молитвы. Сообщает также, что Паррот — ректор университета — сам наблюдает за его поведением и руководит его учением, что он вынужден жить в наемной комнате, ибо Паррот не имеет подходящей.

«Университет приказал сменить одежду. И с 10 сего месяца началось преподавание немецкого, русского языков и математики».

В Дерпте Абовян не был определен в университет. Во всяком случае в исчерпывающем списке студентов имя Абовяна не встречается. Как великовозрастный, он не мог учиться также и в подготовительной гимназии при университете. Судя по отрывкам из его «Дневника», приведенным в работе Тер-Карапетяна, Абовян проходит университетский курс экстерном, обучаясь частным образом у профессоров и посещая лекции вольнослушателем. Эта форма тогда практиковалась, если речь шла не о какой-либо определенной специальности. А Абовян сознательно готовился к широкой просветительской деятельности. С ним занимались профессора, свободные дни он проводил в кругу тех же профессоров и их семей, людей ограниченных, но культурных и чрезвычайно воспитанных. Его начали учить с самого элементарного и в области наук, и в области житейских знаний: как следует сидеть за столом, есть при помощи ножа и вилки, держать себя в обществе женщин… И Абовян учился.

Он воспринимал не только науки. Он, как и все ранние просветители, ненасытно впитывал все, что казалось ему жизненно необходимым для народа, что он собирался насаждать у себя на родине: изучал стекольное дело, хлебопечение, поварское искусство, кондитерское дело и наряду с тем,

прилежно запоминал правила приличия. Он с одинаковой жадностью спешил регистрировать в своем дневнике и восторг перед германской культурой, и горестное сознание отсталости своего народа, и великие проповеди о свободе, и — лирические излияния простодушного дикаря, перед которым открывается поражающая панорама человеческих успехов, и аннибаловы клятвы служить народу, и нежнейшие строки любви к иноплеменным женщинам, обворожившим его, и рассуждения о судьбах вселенной, и напоминания о том, что «не следует есть яблоко после кофе».

До сих пор этот «Дневник» нам известен лишь по отрывкам, в разное время опубликованным двумя-тремя счастливцами, которым довелось читать его. Но и то, что известно нам, совершенно достаточно, чтобы утверждать, что беспримерное бескультурье владельцев этой рукописи лишает нашу литературу не только документа важнейшего значения, но и не имеющего прецедента памятника, раскрывающего захватывающую картину психологической революции, одного из характернейших и гениальных просветителей и ранних демократов.

Когда, наконец, будут опубликованы «Дневники» — великолепные страницы энтузиазма тоски и побед — исследователю легче будет проследить процесс внутренней революции, пережитой Абовяном.

Шесть лет Абовян провел в Дерпте. В течение этих шести лет произошла коренная ломка всего его мировоззрения. Крайне важно поэтому, по возможности, подробно осветить ту среду, в которой рос Абовян, время и социальную обстановку, которая доминировала в воспитании Абовяна, тот круг политических и общественных интересов, который господствовал в его окружении и, наконец, ту сумму научных проблем, которой интересовалась и жила корпорация его друзей профессоров.

Для подробного освещения этих вопросов мы не проделали еще элементарной предварительной работы, — изучения архивов, — поэтому нижеприведенные соображения будут беглы и кратки.

Отсветы революций 30-х годов

Абовян приехал в Дерпт в самом начале осени 1830 года. Это была эпоха мрачной последекабристской реакции. «Пустое место, оставленное сильными людьми, сосланными в Сибирь, не замещалось. Мысль томилась, работала, но еще ни до чего не доходила. Говорить было опасно, да и нечего было сказать».

Россия молча выносила тяжелый сапог николаевской диктатуры. Но свирепая реакция не могла

стереть память о декабристах. Чем свирепее зверствовали Николай и его обер-жандарм Бенкендорф, тем чаще вспоминалось 14 декабря. Люди не говорили ничего, не протестовали, но и не мирились с режимом Николая, не забывали казни пяти. Существовали притаившись.

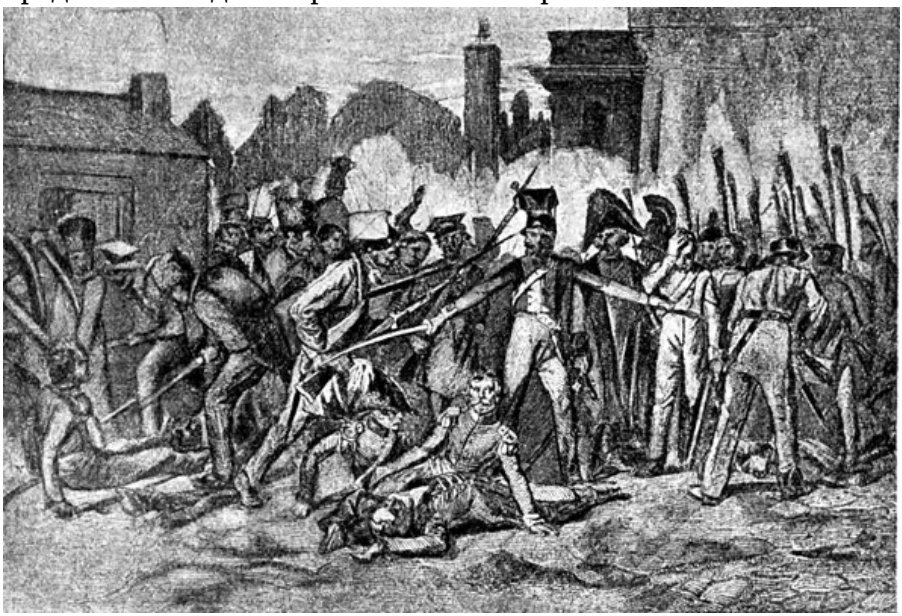
Так было в самой России,

Иначе обстояло дело на западных окраинах империи. Там люди жили по иному календарю. Счет дней они вели по-французскому стилю, особенно Польша. А парижские куранты уже несколько месяцев пели Марсельезу, все улицы этого буйного города — покрылись баррикадами, вновь, хотя и на короткий срок, трехцветная кокарда появилась на головных уборах трудящихся.

Июльская революция во Франции немедленно отозвалась гулким эхом в напряженной атмосфере Восточной Европы. Едва Абовян успел ознакомиться с топографией того района Дерпта, где жил, как вспыхнула бельгийская революция под знаменем независимости. Едва успел брюссельский Национальный конгресс провозгласить независимость Бельгии, как вспыхнуло «ноябрьское восстание» в Варшаве.

Это было уже не зарево чужих пожаров. Под самым боком прибалтийских провинций, в пределах взнузданной Российской империи, восстал соседний народ. Идеи, воодушевлявшие повстанцев, незримыми каналами проникали в прибалтийские интеллигентские круги. И не только общие идеи восстания — с затаенным дыханием люди следили и за внутренней классовой борьбой восставших. Борьба молодой, добивавшейся полной независимости, буржуазно-демократической Польши, с аристократической, консервативной панской верхушкой, стремившейся лишь к реформам и к соглашению с Николаем I — эта борьба вызывала живейший интерес передовых общественных кругов прибалтийских угнетенных народов. Отказ польского сейма наделить крестьян землей привел под конец к народному восстанию против шляхты — восстанию, которое по своей ярко

демократической программе сразу подчеркивало реакционный характер дворянской и земледельческой Польши. Это восстание, как и падение Варшавы, отзывалось болезненно на сознании передовой молодежи Прибалтийского края.



Революция в Польше. 29 ноября 1830 года. Гравюра на меди (музей ИМЭЛ)

Июльская революция всколыхнула также и итальянских патриотов-карбонариев, движение которых к этому времени быстро было обезврежено.

Конечно, все эти обстоятельства непосредственного воздействия на Абовяна могли и не оказать; ни участвовать в них, ни регулярно следить за их ходом он вероятно не мог, его друзья также не были в какой-либо мере связаны с этим движением. Но революции наполняли всю атмосферу первых двух лет пребывания Абовяна в Дерпте, о них говорили, их программу читали.

Все это, разумеется, создавало благоприятную обстановку для развития демократических черт в воззрениях Абовяна.

В Дерите училось не мало поляков и детей польских патриотов. Они несомненно были чрезвычайно взбудоражены происходившим на их родине восстанием, знали его лозунги и беседовали о них.

Среди студентов были не только поляки, но и греки, пережившие недавно свою освободительную войну. Они были руссофилы, но эти люди, пережившие революцию, по-своему понимали руссофильство. Сам Абовян упоминает про двух греков, приехавших из Греции, с которыми его познакомил Паррот.

Трудно верить, чтобы студенты поляки, греки, вышедшие из недр народов, так недавно еще восставших против русского императора и турецкого султана, на глазах которых прошли освободительная война и революция, чтобы они не говорили о народном восстании, о славе вчерашних дней. Они с увлечением рассказывали всем о том великом героизме, который присущ именно им, грекам, полякам, о свободолюбии их народа, сохранившим в памяти великие имена Перикла или Костюшко… Национал-демократическая фразеология всюду сконструирована по одному и тому же образцу.

Что мог Абовян противопоставить этим горделивым разговорам? В своем дневнике он десятки раз регистрирует, как он защищал славу армянского народа, многократно варьирует аргументы, которые он при этом приводил, но современный читатель легко поймет состояние Абовяна, если узнает, что против рассказов о гордых революционных дерзаниях он должен был апеллировать к давно прошедшей сомнительной славе, фантастическим деяниям «святых» юродивых и многогрешных попов, к жалким преданиям о просвещенности и христианских добродетелях какого-нибудь из плаксивых католикосов…

Самолюбие Абовяна вероятно страдало от соприкосновения с историей других народов, уже сложившихся как нации, уже осознавших свою непримиримую вражду с феодализмом, уже предъявивших счет истории и нашедших себе место в современном тесном капиталистическом мире.

Ограничивались ли разговоры только кругом исторических вопросов? Думаю — нет. Во всяком случае, запись, которую Аксель Бакунц любезно прислал мне, запись из дневника Абовяна от 29 сентября 1831 года наталкивает на далеко идущие и смелые предположения: «С господином Швабе… беседа об истории Польши. Сочувственно он меня расспрашивал о правлении нашем, о законах наших, о народе нашем. Его сочувствие к нашей нации. Наше уединение с г. Швабе. Особая беседа наша, после чего при прощании: «Господь да благословит — дело ваше, да благословит бог наше единение и нашу дружбу[6]».

Разговор состоялся за полтора месяца до польского восстания! Какое «дело» имел в виду Швабе — не трудно себе представить. О каком единении говорил этот несомненный поклонник национально-освободительных выступлений против царизма — легко догадаться.

Но много вокруг Абовяна было сыновей и менее удачливых наций, населявших Прибалтийский край. Абовян без труда мог заметить, что есть много общего между судьбой эстов, латышей, литовцев с одной стороны и армян — с другой. Мужицкое море

этих народов стонало под игом немецкой и польской шляхты. Процесс капитализации западных окраин шел быстрее, пауперизация крестьянства — беспрерывно, владельцы крупных латифундий уже тогда предпочитали батрацкий труд разорившихся крестьян какой-либо иной крепостной форме их эксплуатации, — поэтому систематически вели политику на уничтожение крепостных отношений и на обезземеливание крестьян.

На этой почве в крестьянской среде ни на год не прекращались волнения, время от времени порождавшие химерические ожидания то благостного вмешательства правительства, то заступничества церкви. На этой социальной почве — русское духовенство старательно вело интригу против протестантской церкви, ловило темные мужицкие души, противопоставляя онемечиванию… русификацию.

Тот процесс, который закончился трагедией 1841–1845 годов, начался еще при Абовяне. При помощи некоторых подачек крестьянам, русское духовенство и администрация все более настойчиво и открыто проводили политику распространения православия среди эстов, латышей и литовцев. В процессе этой ловли душ русское духовенство апеллировало к национальным чувствам, противопоставляя крестьян эстов, латышей и литовцев, католическим помещикам полякам и протестантским баронам-немцам. Это пробуждало национальное сознание малых народов, перемешивало национальное с социальным, создавая очень сходную с армянской обстановку.

Профессора Дерптского университета с огромным интересом следили за этим процессом. Гневные слова Паррота, который предупреждает Абовяна, что между ними все будет порвано, если Абовян забудет свою веру и окажется отступником (так передает Абовян в своем дневнике эти слова Паррота), так же как слова его других коллег-профессоров, являются откликом той политической борьбы, которая развернулась под видом религиозного миссионерства. Чтобы читатель мог оценить должным образом значение этого факта, я напоминаю, что большинство профессоров, с которыми Абовян в первые годы поддерживал дружеские отношения, были профессора богословского факультета, что они в огромной своей части активные протестанты и крайне неровно воспринимали своеобразное «миссионерство» православного духовенства.

Но и эсты, и латыши, и литовцы уже с наполеоновских войн вышли из состояния простого народа-быдла для немецких баронов. За период 1800–1830 годов шел процесс образования крупных городов в крае, крестьяне массами переселялись в

города. В приморских городах образовался известный слой пролетариата, возникли целые гильдии ремесленников, появились первые представители торгово-капиталистических интересов. На этой почве и в результате острой политической борьбы сформировалась тонкая прослойка национальной интеллигенции, у которой быть может еще не очень ясна программа, но очень ярко было выражено национальное сознание.

Революция 1830–1831 года и усилила, и завершила процесс.

Древнейшее научное учреждение — Дерптский университет, занимавший центральное положение в крае, естественно, очень скоро отразил это явление, оживив и значительно активизировав деятельность студенческих землячеств. Уже с 1830–1831 года при Дерптском университете возникла мысль о создании корпорации студентов и профессоров, целью которой было «изучение прошлого и современного состояния эстонского народа». После длительной подготовки и переговоров было в 1833 году официально признано «Ученое эстонское общество». Весь процесс подготовки этого, общества прошел на глазах у Абовяна и легко заметить прямую связь между этими его наблюдениями и его программой хождения по селам и весям с целью сбора народного фольклора, изучения народного быта и воззрений, программой, которую он так горячо и отчетливо изложил в своем предисловии к «Ранам Армении».

На студенческих землячествах шли не только попойки, как позже клеветали черносотенцы, но и бесконечные споры по истории и этнографии, но и «земляческие» разговоры, а так как эти землячества были созданы по территориально-национальному признаку («Estonia», «Livonia», «Curonia», «Polonia») и лишь одно — по чисто территориальному («Fraternitas Rigensis»), то естественно, что «земляческие» общения и разговоры имели ярко национальный оттенок. Да и самая группировка по национальному признаку была знаменательна. Эти землячества возникли как аристократические организации дворянских сынков, но уже с 1830–1831 года они стали уделять значительно большее внимание окружавшему их народу и его творчеству, подошли много ближе к национальным вопросам и запросам. Этому особенно должно было способствовать появление великорусского землячества, возглавляемого Языковым, и еще одного землячества с программой активно-националистической, великодержавной.

Я вовсе не желаю превращать эти студенческие землячества в революционные организации, я даже не утверждаю, что Абовян был в какой-нибудь связи с ними. Ссылаясь на них, я хочу

обратить' внимание читателей на то обстоятельство, что Абовян находился в атмосфере, где вызревающее национальное сознание других угнетенных народов всеми путями пробивалось наружу. Обстоятельство очень важное, так как оно создавало весьма благоприятную обстановку для завершения развития этой идеи у самого Абовяна.

В защиту Паррота

На самом ли деле Паротту удалось подняться на вершину Арарата? Богобоязненные невежды всячески отрицали самую возможность простому смертному подняться на вершину горы, куда легенда загнала Ноя с его утлой ладьей. Паррот предусмотрительно взял клятвенное показание участников подъема, не исключая и Абовяна, и поместил эти документы в своей книге, кроме клятвы Абовяна.

Паррот щадил Абовяна — человека духовного звания — который должен был вернуться в среду духовных варваров. Он обнаружил исключительное знание людей. Как только католикосом был избран грубый и невежественный Иоанн, так началась подлинная свистопляска. Винили Абовяна в святотатстве, употребляли самые подлые средства, принуждая бедных аргурских мужиков отказаться от данной клятвы, клеветали по адресу путешественников, особенно смелого диакона. В результате, не прошло и года, как Паррот получил сведения об отказе аргурских крестьян от клятвы. Естественно, Паррот был огорчен. Но еще более был оскорблен Абовян. «На глаза навертывались слезы обиды, — записывает он в дневник, — не находил слов для выражения боли и внутренней тоски».

Искушенный в эчмиадзинских склоках, Абовян превосходно понял, откуда идет удар. Вероятно, он своими мыслями и огорчениями поделился с другом своим — магистром Мсером Мсерианцем, ибо последний в 1831 году писал архимандриту Ованес Шахатуняну: «Да будет стыдно тем, кто огорчает прекрасного юношу, того, кто воодушевлен любовью к учению на благо отечеству, кто одарен многими способностями, кто стоит сотни стариков. Он день ото дня все просвещается к его чести, растет и выделяется среди людей других национальностей во славу и в честь нашего отечества и с собой поднимая и имя нашей нации. А эти шашлыкоеды — не знаю что приобрели или что добавили ко славе церкви. Но худое имя они-таки оставили уже миру, подобно тому, как имя нации нашей сделали притчей во языцех всего мира».

Шашлыкоеды — это Иоанн Корбеци, про которого говорили, что венцом его стремлений являлся жирный шашлык…

К голосу невежд прибавился отзыв ученых педантов, которые поспешили установить «противоречия» в показаниях свидетелей и выразили удивление, что не все присутствовавшие опрошены. Когда вышла книга Паррота о восхождении на Арарат, геттингенский рецензент выразил удивление, «что г. Паррот не

присовокупил также и свидетельство молодого диакона армянина Хачатура Абовяна, который участвовал в предприятии и чье подтверждение в данном случае имело бы исключительный вес».

Абовян в феврале находился в Петербурге (или приехал туда специально за тем, чтобы поместить опровержение?). Он написал письмо в редакцию «St. Petersburger Zeitung», которое мы считаем необходимым дать здесь в переводе. Оно дано в газете неполностью, ему предпослано маленькое вступление, написанное редакционным референтом, на запрос последнего Абовян ответил письмом, «которое мы печатаем без изменения — говорится во вступлении — так как его написал сам Х. Абовян и то на немецком языке, что для армянина изумительное явление, причем господин действительный статский советник Паррот в Дерпте об этом шаге не имеет ни малейшего понятия».

Вот что пишет Абовян:

«Когда мои соотечественники вследствие предрассудков и суеверий не поверили, что г. действ, ст. сов. Паррот поднялся на самую высокую вершину Арарата, я приписал это простоте понятий их о возможности такого предприятия, а также той легенде, которая пустила глубокие корни в их сердцах, легенде, которую они рассказывают о святом Якове. Легенда известна. Она рассказывает, что, несмотря на все стремления этого святого видеть Ноев ковчег, он ничего не достиг, кроме того, что получил кусок дерева от ковчега и вестник бога — ангел — известил его, что бог запретил смертному ступать в эти священные места ногой, иначе он рискует подвергнуться гневу божию. Итак, когда мои соотечественники, питая столь глубокое почтение к своей величественной горе, на которой бог когда-то чудом спас человеческий род, рассматривают ее как святыню и почитают ее, я всей душой присоединяюсь к их мнению. Они могут и должны быть горды владением ею, подобной которой ни одна страна не имеет. Пусть они успокоятся, мы не на ту землю стали, к которой пристал ковчег, а на том толстом слое снега, который несомненно толще 100 футов и покрывает эту святую землю.

Большой Арарат и монастырь Св. Якова. Рисунок Паррота из его книги «Путешествие на Арарат», Берлин, 1834 год

Но для меня положительно необъяснимо то, что культурный европеец может сомневаться в истине подъема. К несчастью оказалось, что даже в культурной Европе находятся люди, которые еще больше привержены ограниченным суеверным мнениям и предрассудкам, чем эти наивные дети природы.

Ибо и среди последних были люди, которые нас считали счастливцами за то, что мы имели счастье достичь недостижимого и удостоились такой высокой чести. Помню, например, старого и благочестивого настоятеля монастыря святого Якова — Карапета, который, несмотря на то, что не имел ни знаний особых, ни особых сведений о чужих краях, привлек симпатии всех нас исключительно здравым суждением и примерной жизнью; спокойная жизнь вдали от шума, его человеколюбивое уважение к каждому из нас и отчасти к научным стремлениям европейского путешественника облегчили ему понимание того, что он мне несколько раз тайком говорил: «невозможно, чтобы они встретили непреодолимое, они — ангелы, для таких богобоязненных людей добро всегда совершится», а когда мы шли на подъем, он это свое мнение сообщил открыто. Когда кусок льда, который я захватил с вершины, ибо другого там ничего не нашел, уже растаявший, в бутылке я доставил в эчмиадзинокий монастырь, некоторые умные и благочестивые епископы и архимандриты, взяв, частью окропили лица, а частью как святыню хранили. И я, хотя и

рожден там и не имел ни малейшего понятия о подобных предприятиях, ни на минуту не усомнился в возможности осуществления этого величественного дела, когда путешественники были еще в монастыре. Более того, я всю свою судьбу им вверил, лишь бы участвовать в предприятии. Не зная, какое значение придаст ему ученая Европа, я был счастливейшим человеком в глухой Азии, ибо поднялся на местопребывание моих предков.

Но если бы я рассказал, какие оскорбления я вынес за свою правду не только от армян, но и от других, тогда не вызовет удивления то, что в Закавказьи мой народ проникся ко мне враждой из-за этого и угрозами, что те двое крестьян, которые с нами были на вершине еще в нашу бытность на склонах Арарата, до того были стариками села и соседями отлучены и осмеяны, что часто ходили ко мне и от всего сердца заявляли, что если мы не поможем, они будут вынуждены открыто отречься от истины, чтобы получить покой и безопасность.

Ясно, почему эти двое были вынуждены дать ошибочные показания. Их с большим трудом, то умоляя, то угрожая, я кое-как довел с нами до вершины, ибо они, никак не мирясь с трудностями, затем из боязни не хотели идти с нами.

Здесь, в Петербурге, побуждаемый чистым стремлением к истине, я отвечаю да, я утверждаю перед всей Европой, что господин действительный статский советник Паррот при третьей попытке поднялся на вершину Арарата, что я собственноручно установил и укрепил во льдах деревянный крест на северной части вершины, а то, что это была самая высокая вершина, доказываю следующим образом: глядя на гору издали, я всегда предполагал, что она должна иметь две вершины. Во время подъема, когда мы прошли уже несколько шагов подряд и, наконец, вышли на довольно просторную поляну, всем нам казалось, что это была наивысшая вершина. Наша радость и наше прилежание к труду исчезли при виде панорамы, когда мы за ней увидели перед собой вторую, я уж не говорю о том, в какое уныние впали наши и крестьяне и солдаты. Тут г. Паррот показал нам высокий пример присутствия духа и исключительную стойкость. Воодушевленные им, мы направились к этой второй вершине.

Я открыто заявляю, что — ясно не помню — два или три раза были вынуждены приступить к подъему, пока мы достигли такой вершины, откуда все прочие как слева, так и справа, как с востока, так и с запада казались под нами. Чтобы быть тверже уверенным в удаче нашего предприятия, я, пока г. Паррот был занят барометрическими измерениями, разыскал место откуда

был виден монастырь св. Якова, место нашей стоянки, ибо он находился по прямой на дне черного обрыва, так что если бы кто снизу глянул, мог видеть вершину. Я исполнил желание и увидел монастырь и его окрестности и оба склона той горки, которая окружает монастырь и его долину. Тут я установил крест, предприятие, которое вызывает во мне дрожь при одном воспоминании, ибо малейший неверный шаг на этом плоскогорья стоил бы мне жизни. День был великолепный, но близился вечер. Эривань, Араке, Баязед, Ефрат, Севанское озеро, Малый Арарат и другие снежные или голые горы с покрытыми туманам долинами, которые мы ниоткуда не могли обозреть так сообща — были волшебные части этой великолепной картины. На обратном пути нас отменно наградил новый месяц.

Причина, почему я в Армении, подобно двум крестьянам и солдатам, не дал клятву, подтверждающую эту правдивую историю, заключается в том, что когда г. Паррот потребовал подвергнуть клятве их, я был уже в Дерпте. Тут я поклялся в Ландгерихте. И чтобы показать, до чего справедлив г. Паррот, хочу рассказать следующее: было время холеры, все уважаемые граждане Дерпта дежурили у входа в город, чтобы предупредить путешественников о пути следования. Однажды я пришел навестить его там, где стояли профессора Паррот и Струве и нашел их за шахматами. Когда я возвращался домой, г. Паррот сказал, что должны меня подвергнуть опросу по поводу восхождения на Арарат. Я припомнил, что не сохранилось в памяти точное число восхождений и просил его напомнить. Ответ его был краток: он мне ничего не скажет, нужно сообщить то, что знаешь, а не то, что подскажут. К счастью, вернувшись в монастырь св. Якова, я зафиксировал все, что наблюдал во время восхождения. Там нашел и дату.

Почему в своей книге г. Паррот не приводит мою клятву? Я могу это приписать лишь тому, что он принимал в расчет мои взаимоотношения с моей нацией, захотел уберечь меня, ибо я должен возвратиться туда, чтобы распространять среди них полученные от европейской культуры полезные и нужные знания. Но теперь необходимо правду публично признать и я ничего не боюсь, бог поможет мне в моих благочестивых замыслах, хотя и могу встретить большие затруднения. Я мог бы перечислить еще и другие обстоятельства в доказательство истинности восхождения нашего на Арарат, но зачем? Г. Паррот уже подробно описал путешествие и пусть мое верное свидетельство уничтожит сомнения тех, кто устно или письменно выступали против истины.

Недолго, вероятно, придется ждать, когда, быть может,

другой образованный европеец посетит мою красивую родину, чтобы с изумлением любоваться ее величественными горами, ее прелестными долинами, подобных которым надо бы искать во всем мире, чтобы любоваться восхитительными памятниками древнейших времен. Я прошу этого честного и энергичного исследователя, да, заклинаю его не бояться трудностей подняться на нашу святую гору и оттуда обозревать мою прелестную родину. Он будет сторицею вознагражден и сможет свидетельствовать правду».

Немецкие буршеншафты

Для внутреннего роста Абовяна имело большое значение приподнятое идейное настроение студенческой массы, а наиболее интересно и ярко проявило такие настроения подпольное немецкое студенческое землячество, именовавшееся Буршеншафтом. Я называю студенческое общество землячеством потому, что оно объединяло немецких патриотов, которых в дерптском университете было достаточно.

Буршеншафты появились в Германии как продукт патриотического подъема после наполеоновских времен. Как раз после разгрома Наполеона в Германии, особенно среди студенчества, возникло сильное движение за объединение всей Германии. Воспользовавшись трехсотлетием реформации, годовщиной Лейпцигской битвы (1817 год, октябрь) студенты Иенского университета устроили патриотический праздник в Вартбурге. Руководило действиями студентов организованное в 1815 году общество «Буршеншафт». Это не было оформленное политическое движение. У него не было законченной программы, его девизом было: «честь, свобода и отечество», его цели — просветительские, оно хотело бороться за осуществление единства Германии, но еще — не выработало себе методов и не знало путей. Это было смутное ранне-буржуазное движение, быстро возникшее и столь же быстро деградировавшее. В 1816 и 1817 годах к иенским студентам присоединились студенты и других университетов.

На Вартбургском празднике был организован Allgemeine Deutsche Burschenschaft (Всеобщий немецкий студенческий союз).

На Вартбургском празднике студенты торжественно предали сожжению «Историю германского народа» Коцебу, которого ненавидели германские патриоты, так как считали его агентом русского царя.

Он и на самом деле был таким агентом, находился на русской службе и был воплощением самой черной реакции.

В 1819 году третьего марта студент Занд — член Буршеншафта — убил в Маннгейме Коцебу. Чрезвычайно интересно, что этот акт был русскими официальными кругами воспринят как антирусская демонстрация, а передовые — круги России восприняли его как революционный террор, разумеется также считая, что удар по Коцебу был ударом по царской России. Это обстоятельство заслуживает особого внимания. Буршеншафт возник под знаком очевидной неприязни к официальной России и первый его политический акт опять-таки наносил удар русскому

самодержавию. Буршеншафт был немецкой патриотической организацией с нескрываемыми антипатиями ко всем, кто шел на служение царскому самодержавию.

Бурш. Силуэт немецкого студента работы Менцеля (Гос. исторический музей)

После этого Буршеншафт официально был закрыт. Но, несмотря на преследования, продолжал неофициально существовать до 1827 года, когда это сообщество возродилось и распалось на две фракции: «германцев» — сторонников решительных методов борьбы и «арминов» — сторонников просветительской деятельности и идейной борьбы.

Всеобщий студенческий союз естественно оказывал сильнейшее влияние на все вне Германии находящееся немецкое

студенчество и особенно на студенчество Дерпта. Оно систематически воспитывалось в духе своеобразного немецкого патриотизма, которое воодушевлялось сепаратистскими иллюзиями, которое никогда не отождествляло отечество с Россией. Прибалтийские немецкие бароны всеми силами поддерживали Николая I и служили орудием осуществления самых реакционных мер, а сыновья их — молодые дерптские студенты — мечтали о своем подлинном отечестве и распевали гимны в честь Занда.

Буршеншафт в Германии развил к этому времени энергичную деятельность; рассылал эмиссаров, вербовал членов, пропагандировал свои идеи. Связался он и с Дерптом, уже в первые годы своей организации послав туда специального эмиссара, полицейские анналы зарегистрировали дело одного такого эмиссара — некого Эрнеста Дюра, который завел в Дерпте знакомства со студентами. Арестованный в Варшаве в 1827 году, он прямо показал, что в 1820 году он «был в Дерпте по делам Дерптского Буршеншафта, находящегося в сношениях с Немецким студенческим союзом».

Дерптский Буршеншафт был организован в двадцатых годах. В 1823 году был принят его устав. Девиз — «бог, честь, свобода, отечество».

Всего вероятнее, что этот союз был более умеренного оттенка и, находясь вне Германии, он не был так тесно связан с теми радикальными национальными кругами, с которыми держали связь германские союзы. Он имел значительные отличия, идеализировал исторические предания о деяниях ливонских орденов, нескрываемо критически относился как к русским и к России, так и к местным «мужицким» нациям. Произнося в своих клятвах «отечество», члены союза подразумевали вовсе не Россию.

Что делалось на собраниях этото союза нам неизвестно. Но события после 1830–1831 года вели к тому, что царская жандармерия концентрировала свое особое внимание на Прибалтийском крае, а после того, как немецкие студенты в Германии вновь обнаружили намерения вмешательства в политическую жизнь (франкфуртские события третьего апреля 1833 года), царские чиновники начали особо пристально следить за Дерптским университетом справедливо полагая, что активизация студенчества в Германии неминуемо должна отозваться и на нем.

Ректором Дерптского университета был в то время Ф. Паррот, покровитель Абовяна. Тот факт, что он не обнаруживал особого рвения в розысках крамолы — важное обстоятельство, такие вещи нельзя квалифицировать как простое служебное упущение, как

неряшливое невнимание к своим обязанностям, — в чем, кстати сказать, Паррота никогда нельзя было упрекнуть. Но даже благоволение университетского начальства не спасло студентов.

Второго ноября 1833 года генерал-губернатор из Риги известил ректора, что в его вотчине процветает Буршеншафт, назвал имена студентов и требовал расследования. Паррот был вынужден назначить срочное расследование. Дознания обнаружили многолюдное подпольное общество.

Паррот в секретном письме от восемнадцатого ноября 1833 года сообщил обо всем министру просвещения. С. Уваров доложил Николаю I, который спешно отослал доклад Уварова шефу жандармов Бенкендорфу с надписью: «Прочтите сии бумаги и условьтесь сейчас с Уваровым о нужных по сему мерах, я считаю открытие сие весьма важным, потому что подобными мерами начались все беспорядки в иностранных университетах, коих последствия мы ныне видим, логика же и смысл этого общества совершение подобны германским».

Полицейский нюх не обманывал Николая!

Немедленно был назначен суд. Выяснилось на суде, что общество к этому времени имело сорок четыре действительных и восемь бывших членов, которым суд вынес по четырнадцати дней карцера, одного исключили, а восемнадцать старшин общества взяли под стражу до утверждения приговора. Министр нашел приговор мягким. По его докладу восемнадцать старшин были исключены из университета. Николай на докладе Уварова надписал: «Согласен, но при том считаю справедливым велеть заметить начальству университета, а в особенности бывшему ректору (Парроту), что неизвестность существования подобного общества не делает чести тем, коих первая обязанность блюсти за строгим порядком»…

Паррот не оказался исполнительным жандармом!

Впрочем он был уже забаллотирован, и на 1834 год ректором был избран проф. Мейер.

Я сознательно так долго задержал внимание читателей на этом деле. Оно так тесно коснулось Паррота и так основательно его задело, что пройти мимо Абовяна не могло ни при каких обстоятельствах.

Поучительным для него должно было быть как самое дело, так и отношение к «делу» Паррота. Если даже предположить, что он ранее не был знаком с Буршеншафтом и его членами (что я не исключаю), то и в таком случае колоссальное впечатление должно было произвести на него наличие подполья, самая нелегальная форма борьбы и яркая национальная программа Буршеншафта. Его особенно должна была поразить столь строгая

расправа за мирно-просветительную, реформистскую деятельность Дерптского Буршеншафта, который по своей программе и тактике был копией фракции «арминов».

Но патриотизм немцев-студентов не был единственным видом и проявлением германского национализма в Дерптском университете. Он процветал довольно прочно и в среде профессоров, большинство которых были немцы. Среди значительной части профессоров университета сильны были сепаратистские стремления, довольно явно выраженное пренебрежение к русским и раздражение против православного духовенства. Я приведу только два факта, которые, с моей точки зрения, ярко характеризуют отмеченные настроения.

Профессор Нейе, Эрдман и некоторые другие выдвинули идею созыва съездов ученых Прибалтики и Финляндии в одном из городов этих двух стран (соответствующее заявление они подали в сентябре 1837 года). Министр предложил включить сюда и русские университеты, а местом созыва избрать не только города двух предложенных провинций, однако инициаторы съездов высказались против равноправного участия в них русских университетов.

К русским университетам у профессоров Дерптского университета было крайне пренебрежительное отношение. В 1832 году Абовян заносит в свой «дневник»: «Беседа о разных волнениях в Московском университете, вследствие строгости профессоров, пренебрежение их (дерптских профессоров — В. В.) к этим строгостям. Пренебрежение их к Московскому и Харьковскому университетам, где профессора обращаются со студентами, как с солдатами. Об Оксфордском университете, где богатые студенты заставляют служить бедных студентов, и те насущный хлеб свой добывают этой службой. Бедность делает мужественным. Преимущество Дерптското университета и свобода[7]».

Было за что дерптским профессорам смотреть сверху вниз на наши университеты. Стоит только припомнить 1832 год, Магницких и Уваровых, подготовлявшийся новый устав и сословные порядки, чиновников за кафедрой…

Еще более характерно дело Ульмана. Когда он собрался уехать из Дерпта, по старому обычаю студенты, с разрешения университетского начальства, преподнесли ему бокал и пели при этом традиционные студенческие песни.

Николаю донесли, что Ульман держал ответ студентам и говорил о «немецком сердце» и «верности отечеству». Николай не поверил, что Ульман имел в виду русское отечество. Он разогнал профессоров, разгромив некоторые кафедры. Подобная расправа

не была последней.

Однако, вернемся к вопросу о среде, где получал свое образование Абовян. В эпоху, когда в Дерпте учился Абовян, корпорация профессоров вовсе не была той серой корпорацией верноподанных иностранцев, которыми в сорок восьмом году гордился Уваров. Нам сегодня очень трудно восстановить содержание и характер интимных бесед ученых; как между собой, так и с Абовяном, тех дружеских длительных разговоров, в которых всего ярче высказываются воззрения и политические чаяния собеседников. Одно несомненно — они не были чужды политике.

Когда дошла до Абовяна весть о смерти Аламдаряна, он, крайне опечаленный, решил почтить память своего учителя. С этой целью им была переведена статья Мсерианца. Он поместил ее в Дерптской немецкой газете, а от себя намеревался несколько строк поместить в русской прессе. Нужно было иметь беспредельную наивность выходца из глухой эриванской провинции, чтобы простодушно обратиться к редактору «Северной пчелы», знаменитому Фаддею Булгарину. Фаддей первый раз его просто не принял, а второй раз — выгнал. Выгнал, конечно, по политическим мотивам, вероятно при этом выказав наглое пренебрежение к народу, которому служил Абовян. Недолго размышляя, Абовян размахнулся палкой и лишь проворство Фаддея спасло его от удара.

Булгарин обратился с жалобой к университетскому начальству и в первую очередь — к Парроту. Последнему стоило большого труда уладить инцидент, принявший характер политического скандала, чреватого большими неприятностями. Если перспектива возможных политических неприятностей была еще неясна Абовяну, то для его покровителя Паррота опасность была очевидной, и он настойчиво убеждал Абовяна избегать такого рода опасных и вероломных людей. Трудно предположить, чтобы, говоря о Фаддее, Паррот не коснулся общих вопросов политики.

Для этого было немало и других поводов.

В дневнике Абовяна имеется запись одного «поучения» «великого математика» Бургера, который, говоря о свободных нравах американцев, заметил: «Все блага порождаются свободой, знаю, что русские чиновники в ваших краях чинят много безобразий, против этого нет иного средства кроме одного — разбудите дух нации, всякая нация должна сама почувствовать (определить) свое благо и добиваться его, ваш народ многостарательный, многоспособный, надо только подбадривать его (на освобождение своей родины), а для этого нужно учение,

вовсе не крайней степени учености, а элементарное учение, коим они приобретут начальное знакомство с миром, прочее приложится[8]».

Припомните разговор с Швабе. Хачатур-дпир время свое в Дерпте не проводил даром!

Конечно эти реформистско-просветительские речи либерального профессора неспособны были поднять Абовяна до революционных методов борьбы за демократию. Однако, их значение колоссально, поскольку они создавали благоприятную идейную среду, в которой очень многие смутные демократические эмоции становились определенными демократическими тезисами, поскольку они невысказанно противопоставляли николаевскому режиму республиканские порядки Америки. Бесспорно, «знаменитый математик» ничего не говорил против самодержавия, как не говорил на эту тему, по-видимому, ни один из его учителей, вот почему все шипы демократизма, которые должны были быть направлены против существующего строя, против самодержавия Николая, у Абовяна остались завернутыми в обильную и мягкую вату заблуждений относительно искреннего желания именитых зубров просвещать армянских мужиков. Немецкие сепаратисты внушали ему собственным примером ту мысль, что важна программа действий в среде своего народа, а русские порядки не наше дело, что можно быть глубоким демократом в решении национальных проблем, оставаясь равнодушным к имперскому деспотизму, даже сохраняя с ним мир и пользуясь его покровительством.

Всего вероятней, что в этом направлении действовал и сам Паррот, друг и покровитель Абовяна. Во всяком случае, с благоговением рассказывая о благодеяниях Паррота, Абовян так формулирует цель и задачу, какую ему ставил Паррот: «Невозможно одно за одним перечислить все заботы и хлопоты Паррота о моем учении. Он хотел из меня выработать годного воспитателя детей. Довольно сказать, что он неизменно хотел зажечь в моем сердце любовь к нации, церкви и нашей стране».

Это была дурная сторона влияний, испытанных Абовяном в Дерпте. Как раз такие сепаратистские либеральные влияния привели к тому, что он вовсе не был подготовлен к революционной расправе с царями как земными, так и небесными, что он не почувствовал, не услышал созвучия между своими настроениями и русским движением, которое с 1836 года не только наметилось, но и выявилось на страницах журналов. А созвучие безусловно было.

Абовян не вышел за пределы культурной самоблокады дерптских профессоров, его еще не обдало свежим ветерком

задорного революционного демократизма русских разночинцев. Но теперь он до конца уяснил себе основу основ демократического мировоззрения и то, что было у него в юношеские годы лишь предчувствием, стало реальностью и заняло все поле его страстного, глубокого и ясного сознания.

В этом ему помогли в меру своих ограниченных возможностей профессора — друзья его, помогли не только одними беседами, не только наставлениями и предостережениями, но и общим направлением литературного воспитания.

Я еще раз оговариваюсь, что, рассказывая о всей сложной сети исторических событий и взвешивая идейные влияния, я вовсе не имел в виду делать Абовяна их участником, пропагандистом и глашатаем или даже слишком заинтересованным наблюдателем. Я хотел только напомнить о той исторической обстановке, в которой протекали учебные годы Абовяна, о тех идеях, которые висели в воздухе и которые прямо или косвенно должны были оказать влияние на Абовяна и несомненно оказали.

Литературные влияния

Говоря о литературных влияниях, я, разумеется, не обманываю себя и достаточно учитываю состояние имеющихся по этому вопросу материалов. Высказать сколько-нибудь исчерпывающее суждение о влияниях, из которых сложились и окрепли литературные вкусы и воззрения Абовяна, в настоящее время немыслимо, так как подлинное научное изучение Абовяна еще не начиналось и оно начнется не ранее, чем будет предпринята публикация его рукописей, дневников, писем. А пока можно лишь попытаться выделить те основные влияния, которые нашли прямое отражение в его творчестве.

Литературная манера Абовяна близка к той, которая завоевала себе всеобщее признание в конце XVIII века в Англии, Франции и Германии, а в России была господствующей формой до Пушкина. Абовян попытал на себе сильнейшее влияние сентиментализма и романтизма. Под преимущественным влиянием этих литературных стилей находился не один Абовян. Нараставшее национально-революционное движение передовых народов искало в них средства выражения своих эмоций. Итальянская, польская и литература балканских народов дают огромное количество материала, показывающего процесс приспособления привнесенных литературных стилей к социальным потребностям и задачам страны. Было бы чрезвычайно поучительным сравнение национально-революционной литературы этих народов с ранне-демократической армянской литературой.

Кроме вопросов взаимного влияния (что я вовсе не исключаю: если влияние карбонаризма на Абовяна фактами доказать трудно, то уже Налбандян непосредственно вдохновляется их литературой и поэзией гарибальдийцев — «Песня итальянской девушки») в тщательном изучении нуждается вопрос о природе этого явления.

Исторически крайне интересно, что на почве нарождающейся армянской литературы повторяется почти дословно не только комплекс идей, но и последовательность стилей, какая выработалась в культуре далеко опередивших ее буржуазных стран.

Избыток чувств и еще не определившиеся контуры программы, ясное понимание потребности и смутное представление о тех силах, которые могут и должны бороться за разрешение назревших задач, сила предвидения и бессильное одиночество, бессилие, физически ощущаемое ежедневно — вот

то, что в молодых литературах вызывает острую тягу к чувствительному и романтическому, к дерзким мечтам, приправленным слезой.

Основные идеи французской литературы предреволюционных лет с особой импозантностью должны были вспыхнуть на почве немецкой литературы и с тем большей силой, чем далее отстояла политически Германия от Великой революции. Подобным взрывом политической потребности через литературу слагающейся нации было творчество Гете и Шиллера. И не только эти корифеи — освежающий ветер предреволюционной и революционной Франции способствовал оживлению и бодрости поколения, впереди которого шли такие страстные бойцы, как Лессинг, такие одухотворенные певцы национального возрождения, как Гердер. И не столько личное дарование отдельных представителей, сколько отмеченные особенности социальной основы течения «бури и натиска» сделались близкими и легко воспринимались народами, идущими во след.

Шиллер как проповедник идей свободы, отечества, геройства, тираноборства, — этот Шиллер и в русской общественной мысли играл роль первой подготовительной ступени революционно-демократического, утопического социализма.

«Шиллер остался нашим любимцем, — пишет Герцен в «Былом и думах», — лица его драмы были для нас существующие личности, мы их разбирали, любили и ненавидели не как поэтические произведения, а как живых людей. Сверх того, мы в них видели самих себя. Я писал Нику (Н. П. Огареву — В. В.) несколько озабоченный тем, что он слишком любит Фиеско, что за «всяким» Фиеско стоит свой Веринна. Мой идеал был Карл Моор, но я вскоре изменил ему и перешел к маркизу Позе. На сто ладов придумывал я, как буду говорить с Николаем, как он потом отправит меня в рудники, казнит. Странная вещь, что почти все наши грезы оканчивались Сибирью или казнью и почти никогда — торжеством. Неужели это — русский склад фантазии или отражение Петербурга с пятью виселицами и каторжной работой на юном поколении?»

Еще восторженнее Герцен говорит о влиянии Шиллера на него в ранней автобиографической повести (см. собр. соч., т. II, стр. 400). Через эту стадию восторженного преклонения перед шиллеровским романтизмом революционно-демократическая мысль должна была пройти, прежде чем обрести уравновешенную и трезвую уверенность, и должна была пройти именно после декабрьского поражения, когда на несколько лет водворилась глухая тишина, когда все живое притаилось, когда казалось безнадежным скорое наступление дня, когда «Петербург с пятью

виселицами» отражался в сознании молодого поколения неизменной сибирской каторгой, как завершение всякой мечты о свободе.

Спасительным противодействием шиллеровскому романтизму была диалектика Гегеля, но общественные отношения были еще отсталы. Гегельянство не могло развиться в диалектический материализм и уступило место буйному развитию утопизма, отмеченному взрывом абстрактно-романтического свободолюбия. Победа Герцена над Белинским в их споре об отношении к русской действительности была победой утопического социализма, победой Карла Моора и маркиза Позы.

Для русской революционно-демократической мысли (в отличие от германской) шиллеровский период наступил тогда, когда литература русская могучими усилиями Пушкина поднялась до классической уравновешенности, до величественного реализма. Эта особенность была обусловлена отмеченным выше сложным стечением обстоятельств.

Такого сложного сплетения обстоятельств не было перед Абовяном и не могло быть. Когда он ехал в Дерпт, он был единственным кандидатом на зачинателя новой армянской литературы и одновременно он был одним из немногочисленных идеологов пробуждающегося национального движения

Попав в среду немецкой профессуры Дерпта, он оказался в самом тесном общении с литературой эпохи «бури и натиска». А первое же знакомство с этой литературой естественно поразило его полным совпадением настроений. И у Лессинга, и у Гердера, тем более у великих Шиллера и Гете, Абовян находил воодушевляющие его страницы. Абовян читал и изучал Шиллера и Гете. Позже нам нетрудно будет обнаружить влияние раннего Гете и гегемонию Шиллера почти на всех его работах. Он с величайшей настойчивостью пропагандировал Шиллера в своей школе и, полагаю, совершенно сознательно избрал его не столько как художественный авторитет, сколько как певца свободы. «Разбойники», «Вильгельм Телль» по-своему поразили его и оставили глубочайшие следы на его основном романе.

Самый строй идей Абовяна носит яркий отпечаток немецкого просветительства. Поэтому при внимательном изучении исследователь с изумлением может обнаружить сходство идей и образов Абовяна с каждым из немецких просветителей в отдельности. Это не продукт индивидуального влияния, а доказательство видового сходства. Да, Абовян не менее Герцена и Белинского увлекся свободолюбивым романтизмом Шиллера. Карл Моор и Вильгельм Телль источали слезы и из его чувствительных глаз и его заставляли произносить проклятия по

адресу врагов народа, давать Аннибалову клятву.

Но есть между ними большая разница. Белинский и Герцен проскочили шиллеровский период быстро, в вопросах теории они легко нашли путь от диалектики Гегеля к материализму Фейербаха, оставаясь в их политических вопросах утопическими социалистами. Абовян же был раздавлен обстоятельствами ранее, чем исчерпал возможности периода романтического протеста. Абовян мучительно медленно входил в шиллеровский период и развертывался в нем. Это коренное отличие было обусловлено вовсе не различием дарования или темперамента, а различием социальной обстановки, о которой я скажу ниже.

Значительно меньшее влияние на творчество Абовяна имела русская литература. Сказалась атмосфера Дерпта, вся проникнутая немецким духом, где русские студенты для изучения своей литературы были вынуждены создавать русское землячество. Пиетет перед Гете и Шиллером был до того силен, что почти незамеченным прошел Пушкин. Но тут имела значение сверх того и степень общего развития Абовяна, характер его социальных запросов. Глубоко уравновешенная поэзия Пушкина не могла вызвать в Абовяне того энтузиазма, который вызывали немцы. На искусство Хачатур-дпир смотрел в известной мере с социально-педагогической стороны.

Из русских писателей по формальному родству ближе всего Абовяну был поэт Жуковский, на которого его внимание поминутно обращали профессора. Жуковский жил некоторое время в Дерпте, о нем говорили, его почитали как переводчика Шиллера. С ним Абовян лично был знаком. Знаменитый поэт был к нему очень внимателен. Но, повторяю, влияние чисто формальное, идейные запросы Абовяна были очень далеки от консервативного монархизма придворного поэта. Вернее, Абовян считал монархический консерватизм делом русским и не могущим влиять на решение армянских вопросов, но подучиться у Жуковского он мог многому, знакомясь с родственным ему лирическим романтизмом.

С большим интересом Абовян следил за русской басенной литературой. И это вполне понятно. Басня — тематически и строем образов наиболее близка к народному творчеству. Она является самой доступной формой проповеди и наиболее демократична из всех литературных жанров. Для проповеднических и просветительных целей Абовяна басни Крылова, Хемницера, Дмитриева, давали большой художественный материал. К этому списку следует добавить имя Лафонтена, басни которого Абовян переводил особенно охотно.

Более кропотливые изыскания вероятно добавят много имен,

внесут поправки в детали, но, сдается мне, в основном направление литературных интересов Абовяна и теперь уже вполне поддается определению.

Впрочем, есть еще одно имя, которое не могло пройти мимо Абовяна. Я говорю о Фихте. Пламенные патриотические речи последнего были созвучны настроениям Абовяна. Сепаратистско-националистические круги дерптских профессоров не могли не быть поклонниками автора «Reden an die deutsche Nation». А знакомство с огненным Фихте действовало на сознание Абовяна проясняюще. Невозможно отказаться от мысли, что именно Фихте укрепил в нем решение бороться за новый язык, за демократизацию литературного языка, хотя в моем распоряжении прямых указаний на это не имеется. Из крупных философских имен в мемуарной литературе найдено упоминание о Лейбнице. Француз, путешествовавший по Закавказью, писал западно-армянскому публицисту Ст. Воскану, приблизительно в середине пятидесятых годов прошлого столетия:

«Свидевшись с Абовяном, был изумлен его знаниями. Явления германской философии и литературы до того усвоены им, что даже европеец мог бы при нужде пользоваться его советами. Шиллера знает назубок. Мнения Лессинга и Лейбница отменно усвоил и придал им в своем азиатском воображении новую окраску. Вровень с немцем владеет немецким языком и, нет сомнения, что этот человек сделает еще честь армянской литературе» (цитирую из брошюры А. Бакунца).

Наконец он читал Гегеля. В «Дневнике» имеется запись о трудности чтения Гегеля. Что это не было случайным упоминанием — ясно из характера его беседы с профессором Вальтером, гегельянцем, с энтузиазмом насаждавшим в университете любовь к философии великого диалектика.

Наблюдая за жизнью университета, Абовян не раз предавался тяжелым размышлениям. В его «Дневнике» имеется такая запись: «Глядя на все это (на высокий культурный уровень его окружающий — В. В.), сердце мое охватывает волнение, и я думаю, в каком невежестве коснеет народ наш и придет ли время, когда он также просветится»?

Эта мысль, преследовавшая его в монастыре, еще ярче вспыхнула в Дерпте, в культурном обществе учащихся и профессоров. Чем яснее раскрывались ему действительные размеры отсталости, тем определенней становилось его решение посвятить себя делу просвещения народа. Он сознательно готовился в просветители и дерптские профессора всемерно поддерживали это решение.

Он с особой тщательностью знакомился с педагогическими

теориями. Позже мы увидим прямые влияния Руссо и Песталоцци, думаю не будет рискованно предполагать и влияние Оуэна, социально-педагогические идеи которого как раз тогда в Европе оживленно обсуждались и пропагандировались. Но если о знакомстве Абовяна с Оуэном и другими социалистами можно лишь с известным риском гадать, то вопрос о его знакомстве с автором «Эмиля» — бесспорен. Абовян изучал Руссо. Это — факт первостепенной важности.

Есть еще одно обстоятельство, которое имеет наряду с литературными воздействиями, важнейшее, почти решающее значение «на формирование молодого просветителя. В Дерпте Абовян имел огромный успех среди женщин. Жены и родные профессоров с особой предупредительностью относились — к нему. Он неоднократно имел возможность убедиться, что в нем физическое искушение много сильнее, чем он думал, намереваясь сделаться монахом…

И Абовян без труда сделал для себя великое открытие: «Сближение с прелестной девушкой (Юлией, сестрой жены Паррота) смягчило грубый нрав мой, и действительно это единственное средство для смягчения нравов, — чем более мужчины знакомятся и сближаются с женщинами, тем воспитаннее и благороднее делается нрав их», — пишет он в «Дневнике». И у него совершенно естественно возникает мысль о том, как было бы хорошо жениться на такой немке, которая своим примером могла бы просвещать женщин на его родине.

Этому факту я придаю большое значение. В процессе эмансипации Абовяна такое решение женского вопроса сперва для себя, а затем, как увидим, и принципиально, поднимает Абовяна до уровня передового человека эпохи.

Такова та сумма влияний, тот перекресток идей, на котором Абовян шесть лет обламывал в себе остатки варварского вчерашнего дня, готовясь выполнить величайшую задачу своей жизни.

Выше я указал, что возникшие в стране смутные идеи нуждались в сочетании с опытом передовых стран Западной Европы, чтобы превратиться в передовую демократическую программу.

Абовян нес эти смутные идеи и попал, как мы видели, в революционный водоворот и ураган 1830–1831 года, где не только оплодотворялись идеи, но и довершались программы и прояснялись перспективы.

Не прошло полных шести лет, как Абовян был вынужден вернуться на родину, причем «решение, сбор и отъезд произошли с таинственной поспешностью. Для биографов Абовяна вопрос о

причинах столь спешного отъезда его из Дерпта явится одним из интереснейших вопросов. Разумеется, для его выяснения им придется производить некоторые разыскания. Не был ли его отъезд вызван внешними причинами? Для домыслов и догадок простор большой, но мы не считаем полезным такое занятие. Соблазнительная задача установить связь между его столкновением с Булгариным и отъездом — это тем более правдоподобно, что Булгарин никогда не скупился в доносах и в самых беззастенчивых клеветнических наговорах. Но и это оставим будущему исследователю. В архивах он найдет, быть может, факты, точно объясняющие странную поспешность отъезда Абовяна из Дерпта.

Листопад иллюзии

В 1836 году Абовян вернулся в Тифлис. Нужно думать, не без колебаний решился Абовян на эту поездку. В феврале 1836 года он писал академику Френу из Москвы: «Мое давнее желание — отсюда помочь, в меру возможности моей заброшенной родине, теперь подверженной, как и мое положение, неизвестной и, можно сказать, невеселой судьбе».

Приехал он с ясными, смелыми, демократическими идеями, крайне смутной политической программой и величайшими иллюзиями.

За шесть лет он проделал невероятный скачок, а жизнь его отечества за это время оставалась почти неизменной. Он этого обстоятельства вовсе не учел. Он приехал с тем заблуждением, что с ним вместе росла и его родина, что там не только вызрели потребности, но и поредела тьма, отпали тяжелые цели религиозного мракобесия, что там выросло новое поколение, ожидающее только появления новых идей.

Его проповедь с амвона московской армянской церкви особенно подчеркивает совершенно неверное представление о расстояниях между ним и тем, что осталось в Закавказьи, куда он стремился с таким воодушевлением.

Когда он в Петербурге принял от императрицы поручение быть корреспондентом Русского археологического общества, когда он охотно пользовался покровительством министров и сенаторов и твердо верил в их бескорыстное расположение к армянскому народу, — Абовян обнаруживал бездонную политическую наивность утописта, неминуемо обреченного на полное разочарование.

Великие демократические принципы и рубища старых иллюзий — вот с чем возвращался Абовян. Он возвращался новым человеком, а авгиевы конюшни были те же старые. Шесть лет чужбины, шиллеровское воспитание, восторженные мечты, наконец, новая действительность и новые впечатления, вновь сложившиеся понятия о должном, — все это вместе разрушило конкретное представление о подлинном отечестве. К концу шести лет он возвращался в совершенно незнакомую страну, решительно не имеющую ничего общего с той святой родиной, которую воспевал Шиллер и служение которой сделал целью своей жизни Абовян.

Он приехал организовать культурную школу для подготовки учителей, полный наставлениями и проповедями Паррота, он думал эту свою миссию осуществить под сенью церкви, но глава

церкви встретил его со злобой и больше года проморил голодом в Тифлисе.

Вид Тифлиса в 40 — 50-х годах. Акварель Фромберга (Гос. исторический музей)

Он решил тогда попытаться перенести центр своей педагогической деятельности в Эчмиадзин, думал создать нечто вроде семинария для подготовки культурных пастырей и учителей но и тут встретил чудовищное издевательство со стороны попов, предложивших ему вновь стать… переводчиком католикоса, как в 1829 году!

Как будто ничего не произошло! Как будто Абовян и не отсутствовал шесть лет! То же болото, та же тьма.

Духовным мракобесам казалось страшным образование, полученное Абовяном из рук протестантских професоров. Когда он явился с рекомендацией к католикосу Иоанну, в царстве черных воронов шла энергичная склока. Пастырь купеческого капитала, пронырливый Нерсес усиленно строил оппозицию глубоко провинциальным мракобесам из Эчмиадзина. Не исключена возможность, что Абовян выказал предпочтение Нерсесу перед его противниками. Католикос же счел его прямым агентом Нерсеса и обрушился на него с дикой бранью. «С приказами идешь ко мне, вероотступник, — орал на Абовяна этот столп духовного рабства, — ты можешь хорошо совращать мысли невинных, но воспитывать их — не твое дело».

Этот ограниченный тупица изгнал Абовяна, превосходно почувствовал инстинктом невежды в Абовяне своего непримиримого врага. Абовян его знал очень хорошо еще с юношеских времен. Когда Иоанна избрали в католикосы, Абовян

приноравливаясь к уровню неблестящих способностей его, написал пространное письмо, желая побудить его организовать посылку юношей на обучение в различные города Европы. «Все отставшие народы прибегают к этому средству, — уговаривал он, — даже сербы и турецкий султан поняли пользу просвещения, ужель одни мы не последуем по этому пути? Ужель мы одни безучастны будем к несчастной судьбе народа нашего и ничем не будем помогать ему?» Он страстно убеждал главаря меднолобых церковников, для которых даже Нерсес был революционером: «Только просвещением можно возродить народ, только просвещение внесет упорядочение, просвещение укрепляет связь подданных с властями, любовь к родине, любовь к друзьям, послушание кесарям, признательность к благодетелям, защиту отечества». В 1832 году Абовян еще имел потрясающую наивность думать, что можно аргументами пробить такую глухую стену!

Корбеци твердо запомнил эти пламенные речи юного дпира и, когда через четыре года Абовян вернулся на родину и явился к нему, он грубейшим образом дал ему понять какую колоссальную ошибку сделал Абовян, возложив на него какие бы то ни было надежды.

Абовяну ничего не оставалось как вернуться в Тифлис и раз навсегда отказаться от мысли использовать церковь для внедрения культуры в народ.

«После моего возвращения из Европы, — пишет Абовян Нерсесу, — полтора года я оставался в Тифлисе без куска хлеба. Мне поминутно предлагали занять государственную должность, но я не имел намерения оставить духовное звание». Он упорно боролся за свое понимание церкви и встречал решительный отпор. И под конец духовные зубры доказали ему, что он заблуждается, что всякие иллюзии насчет возможной реформы этого гнезда черной реакции должны быть оставлены.

Каковы были его настроения, легко можно установить по письму его к академику Френу[9], отрывок из которого мы находим в статье Шахазиса.

В 1836 году он писал Френу:

«Неожиданно я познакомился в Пятигорске с Шагреном, который мне понравился. Он был так добр, что согласился настоящее письмо доставить Вам. Итак я должен ждать случаев, чтобы сохранить письменную связь с моими благодетелями и друзьями, ибо все, что я слышу о родине, говорит о том, что быть может умру с голоду, если последую своему красивому идеалу жертвовать собой служению родине, а не попытаюсь иными средствами заработать себе на существование. Сам уже имел печальный опыт. Над делами и обиходом моих соотечественников

довлеет, к сожалению, дух купеческий и горе тому, кто, будучи материально беспомощным, для создания общественных учреждений обратится к их поддержке, апеллируя к общественной пользе… Поэтому я должен заработать себе средства к существованию государственной службой. Какое будущее для меня! Благодатное небо может укажет иные средства. Но трудиться на благо науки и ближнего, сколь позволят мне силы, я почту за свою священную обязанность».

Благодатное небо, конечно, не спешило своими указаниями прийти на помощь голодающему Абовяну и он вынужден поступить на государственную службу — смотрителем Тифлисского уездного училища.

Как ни тяжела была неудача, Абовян крепился. Он решил казенной службой зарабатывать себе хлеб насущный, а для осуществления своих идеалов и своей демократической программы создать собственную школу, где и вести подготовку кадров проповедников новых идей, апостолов новой школы.

В этой школе учились армяне, грузины и тюрки. Вот что пишет о ней культурный немец Мориц Вагнер: «Я много посещал эту школу и поражался успехам юношей. 10 — 14-летние подростки хорошо читали и писали по-армянски, грузински, тюркски, русски, немецки и французски. Очень удивлялся тому, что они говорили по-немецки с хорошим акцентом и при мне устроенная учителем диктовка показала, что они хорошо знакомы со строением немецкого языка, при мне они читали Гете и Шиллера. Каждый раз, придя в эту школу и видя этих бойких подростков, я чувствовал большую радость, особенно дружеские отношения, приличие и прилежание их меня радовали. Своего учителя они очень любили, ибо он очень заботился как об успехах в учении и воспитании, так об отдыхе их».

То, что он рассказывает далее, может вызвать восхищение и одобрение педагога наших дней: «Как только наступили теплые майские дни, я выступил с г. Абовяном из Тифлиса (в сопровождении Абовяна Вагнер ехал в Армению — В. В.). Его ученики все верхом выехали нас провожать за город. Бодрый вид этих юношей вновь доставил мне радость. Некоторые из них с таким искусством управляли лошадьми, так играли на них, что трудно было допустить такое искусство у детей их возраста. Достигнув берега Куры, за последними садами мы попрощались с нашими провожатыми. Г. Абовян — по-немецки сказал речь своим ученикам, убеждая их быть прилежными в учении, чтобы по возвращении он был доволен. Пожав руку каждого в отдельности, мы расстались под громкие пожелания доброго пути, которые долго еще были слышны».

Этот короткий период работы Абовяна над созданием школы был, по-видимому, одним из наиболее светлых периодов его последерптской жизни. Он постепенно отделывается от всех иллюзий насчет церкви и переносит проблему подготовки кадров культурных учителей на свою школу. В 1838 году он писал Френу (вновь цитирую по статье Шахазиса):

«Моя нынешняя должность смотрителя Тифлисского уездного училища уже доставляет мне безграничное утешение. Хотя она связана с определенными трудностями, но они стали со мной нераздельны, я привык к ним. Около 200 учеников ежедневно окружает меня, их любовь, их общение поднимают меня над всем мирским. Детский мир для меня издавна был превыше всего мирского желанного счастья».

«Воспитывать детей для меня все на свете, тем более, что большинство из них мои соплеменники, а остальные грузины и тюрки — мои земляки». Абовян считает особо важной работу среди своих соплеменников и земляков потому, что их варварство и отсталость были беспримерны, они были забыты и заброшены, их просвещение было неотложным делом, великим делом, на которое был способен только самоотверженный сын этого народа, этой страны.

Эти два года не прошли даром. Его опыт в Тифлисе, как я выше указал, вдребезги разбил все иллюзии, которые он питал относительно духовенства, рассеялись все заблуждения и насчет возможного духовного реформаторства.

Христиан Френ. Портрет из «Известий Императорского Археологического Общества» (Всесоюзная Ленинская биб-ка)

В письме к Френу от 23 февраля 1839 года Абовян уже пишет: «Каждая страна имеет потребности, соответствующие ее культуре и если в твоем распоряжении имеются средства удовлетворить эти нужды, или если ты имел счастье вовремя избавить себя от забот о том, все пойдет ладно. В противном случае будет то, что случилось со мной, когда мои школьные товарищи и даже мои ученики, которые остались здесь, стали состоятельными людьми, приобрели вес и влияние среди своих сограждан, в то время как я ни до чего не достиг. Как духовное лицо я погубил раз и навсегда свою карьеру. Большинство своего народа восстановил против себя, ибо мои мечты имели в моих глазах большую привлекательность, а они хотели держать меня вдали от них».

Абовян с поразительной ясностью видел источник своих неудач, видел и понимал основную контраверзу, создававшую ему столько страданий, гарантировавшую ему сплошную цепь

поражений. Одно из двух: или его мечты — тогда неудачи и страдания, или мир с окружающим его мраком — но ценой отказа от мечты о возрождении, о культуре, о светлом будущем. Мечтой жить нельзя — ясно видел Абовян.

А так как он вовсе не хотел отказаться от своей мечты, то решил вырваться из этой обстановки, искать более нейтральное окружение. Так были вызваны его поиски места вне Закавказья и внезапные перемены в личной жизни.

Пятнадцатого декабря 1838 года он просит синод освободить его от духовного звания, а через год в августе 1839 года женится на немке Эмилии Лоозе. Таким образом он демонстрирует свое твердое решение искать светских путей народного просвещения, свой отказ от монашества, а значит и от фантазий юношеских лет относительно новой конгрегации.

Я сказал уже, что последерптский период для Абовяна — период крушений его иллюзий, заблуждений и предубеждений, касающихся церкви, духовенства и всех «благодетелей» из чиновников, «доброжелательных» министров и сенаторов.

С этой точки зрения особый интерес представляет его неудача на педагогическом поприще, вернее было бы сказать на поприще государственной службы, где он питал еще какие-то надежды на возможность привлечь к своему делу внимание тех больших чиновников, которые по его наивному представлению пеклись о культурном возрождении «армянского народа».

Когда петербургские и московские крупные государственные деятели так внимательно способствовали образованию интересного дьячка, они все время имели в виду готовить в его лице своего рода миссионера русской культуры, пламенного и страстного певца русской славы. До тех пор и в той мере, в какой у них эта надежда была еще жива, Абовян пользовался неизменной благосклонностью и министров, и крупных чиновников. Но первый же опыт литературного выступления был совершенно достаточен, чтобы эта иллюзия рассеялась, чтобы крупные государственные люди почувствовали бессмысленность надежд, возлагаемых на Абовяна. Это столкновение в Петербурге произошло в 1839 году, когда Абовян на конкурс для занятия кафедры армянского языка в Казанском университете послал три своих работы.

Как тускнеют надежды

История организации кафедры армянского языка и всех мытарств Абовяна по этому поводу — наиболее позорные страницы и без того мрачной истории тех лет. Они довершают образ духовных невежд, придавая их озверелому облику еще один темный штрих.

Я позволю себе на этом узловом и наиболее документированном инциденте остановиться подробнее.

Не думайте, читатель, что погребенные в архивах Казанского университета материалы по этому интереснейшему делу, столь ярко отразившему столкновение различных социальных программ, столкновение классов, были разысканы кем-либо из трудолюбивых доцентов армянского университета.

Нет.

Документы, о которых я говорю, разысканы тов. М. Корбутом, историком Казанского университета. Несколько раз по ходу своих работ он обращался ко мне с различными вопросами о Назарянце, в беседе же он мне сообщил, что в архивах университета имеется ряд дел о Назарянце и о кафедре. Тогда же я попросил его попутно вести разыскания, не найдется ли в архиве материала, выясняющего историю неудач Абовяна. М. Корбут был так любознателен, что эту стороннюю для него работу выполнил.

И что же?

Оказалось, что в архивах Казанского университета мирно покоится целый ряд совершенно неизвестных армянским исследователям важнейших материалов. Узнав о возможности переписки Абовяна — он разыскал оригинал его письма.

Эти документы и позволяют нам восстановить несколько подробнее обстановку, при которой Абовян потерпел неудачу. Они же дают ответ на вопрос о том, как и когда сложилось у Абовяна убеждение в необходимости перехода литературы на народный армянский язык.

В 1838 году Абовян обратился к Френу с просьбой создать для него возможность более плодотворных занятий родной литературой. Академик Френ начал переговоры с попечителем Казанского университета Мусиным-Пушкиным о том, чтобы при университете создать кафедру армянского языка и пригласить Абовяна на должность профессора.

Попечитель согласился возбудить вопрос перед кем следует и стал разыскивать Абовяна через астраханскую армянскую духовную консисторию.

Об этом нам расскажет ниже сам Абовян, наши же документы

начинаются с ответного письма директора училищ Астраханской губернии М. Рыбушкина, в котором последний извещает, что консисторские власти обещали по своей линии разузнать местопребывание Абовяна. Весть о том, что в столь близком расстоянии от «пастыря» открывается возможность пристроить своего человека — очень обеспокоила астраханское армянское духовенство. Они решили захватить кафедру. Архиепископ Серафим принялся обрабатывать Рыбушкина; впрочем, труда большого ему это не стоило. В письме от 27 апреля 1838 года Рыбушкин пишет.

«… в бытность мою в последнее время у означенного Архиепископа я услышал от него весьма лестный отзыв на счет познаний в науках и вообще образования о приехавшем недавно в Астрахань на службу по гражданской части, имеющем степень Действительного студента Армянине Авакове, Нахичеванском уроженце, давно известном архиепископу Серафиму и по его мнению весьма способном к преподаванию».

Давно известному? Без всякого риска можно предположить, что Аваков с какого-либо боку приходится родней благочинному!

Архимандрит не был глуп, зла своему протеже не желал, поэтому через Рыбушкина послал попечителю автобиографию Авакова, а насчет Абовяна запрос послал, но не о том Абовяне, о котором следовало, и не туда, куда надлежало.

Только четырнадцатого января 1839 года получился ответ на запрос. И какой ответ! Астраханская консистория снеслась с Эчмиадзинским синодом (который превосходно знал Абовяна!): «Ныне армянская духовная консистория отношением от 13/1 за № 14 уведомила меня, — пишет Рыбушкин, — что армянин Иосиф Абовян, племянник иеромонаха Захария (!!! В. В.) имеет свое жительство в местечке Амамец (Амамлу? — В. В.), близ Тифлиса и находится в светском звании». Иеромонах Захарий и его тупоголовый шеф не знали, о котором Абовяне идет речь? Конечно, знали! Но они его считали вероотступником и лютеранином, они его не считали своим, поэтому охотно пошли на бесстыдный обман, одновременно отомстив беспокойному «ренегату церкви» и угрожая архиепископу Серафиму…

Девять месяцев духовные бюрократы размышляли и прикидывали, как ответить, чтобы напакостить Абовяну, пока не нашелся «племянник иеромонаха»!

Пока «отцы духовные» «разыскивали» Абовяна, Мусин-Пушкин возбудил вопрос об утверждении кафедры. 29 декабря 1838 года министр просвещения изъявил согласие и дело пошло на высочайшее утверждение, которое последовало 14 марта 1839 года. Вторым своим представлением попечитель выставлял в

качестве кандидата — клеврета астраханских попов, причем просил у министра сделать для него исключение, разрешив ему занять кафедру, без степени доктора, на что Уваров не согласился, требуя представления установленных работ.

Долго и терпеливо Абовян ждал извещения от попечителя Казанского университета. Получив письмо Френа, в котором академик извещал о согласии попечителя Казанского университета создать кафедру, он был длительное время спокоен. Но, исчерпав терпение, Абовян решил обратиться прямо к попечителю с напоминанием о себе и предложением своих услуг. Письмо написано на немецком языке девятого апреля. Вот его точный перевод:

> Высокопочитаемый Господин Тайный Советник!
> Достопочтейнейший Господин Попечитель!
>
> Ваше Превосходительство милостиво простите мне, что, в полной мере понимая и умея признавать глубокое уважение, подобающее высокому положению, Вами занимаемому, я все же беру на себя смелость, совершенно не будучи Вам известен, обратиться к Вам с письмом. Однако, именно основания, побуждающие меня к этому, слишком важны, чтобы из-за подобной сдержанности, вряд ли уместной при осуществлении настоящего моего намерения, я упустил случай, от коего зависит моя судьба; случай, чрез посредство которого всеблагое Провидение готовит мне будущее, которое, по-видимому, осуществит самые лучшие и горячие мои желания и вновь оживит давно уже проснувшуюся во мне надежду найти в Высокой Особе Вашего Превосходительства благодетеля моего народа и зачинателя моего счастья.
>
> Посему благоволите разрешить мне смелость изложить этот случай. Прошло уже почти больше года с тех пор, как я был уведомлен письмом от Господина Действительного Статского Советника и Академика фон-Френа из Петербурга, что Ваше Превосходительство нашли полезным и целесообразным открыть при вверенном Вашему попечению Казанском университете, среди прочих, также и кафедру армянского языка и что, по его представлению, Вам благоугодно было доверить мне этот во всех отношениях почетный круг деятельности. Но так как впоследствии я никакого известия об этом больше не получал, то считал и с своей стороны неудобным наводить дальнейшие справкой об

этом предмете.

Однако, на этих днях здесь в Тифлисе, где я нахожусь уже три года, распространился слух — распространил его, как я слышал, армянский учитель, по фамилии Марданов, приехавший из Астрахани, — что директор Астраханской гимназии написал, по приказанию Вашего Превосходительства, армянскому патриарху в Эчмиадзин и запросил его обо мне, чтобы затем сообщить мне о высоком намерении Вашем, но получил в ответ, что меня в этих местах больше нет. Причиной такого ответа было, по всей вероятности, какое-нибудь недоразумение с моей фамилией. Но чтобы не терять больше времени и приблизиться к этой давно желанной цели, я почтительнейше спешу обратиться к покровительству Вашего Превосходительства и высказать открыто, что это милостивое выражение Вашей благосклонности представляется мне даром неба, обяжет меня до последнего моего вздоха всю жизнь питать к Вам чувство благодарности и все мои стремления, все мои силы употребить на то, чтобы оправдать доверие Ваше и моего доброго покровителя Господина Действительного Статского Советника и Академика фон-Френа и быть полезным отечеству.

До времени оставляя в стороне вопрос о том, какие, до сих пор, к сожалению, пребывающие в забвении образованному миру еще неизвестные, сокровища заключает в себе армянская литература, здесь еще раз осмеливаюсь только повторить почтительнейшую мою просьбу к Вашему Превосходительству: если действительно моя судьба должна быть решена таким образом, благоволить поставить в известность местное начальство, а вместе с тем Дирекцию училищ Закавказской области, на службе которой я состою в настоящее время в должности инспектора тифлисской окружной школы, дабы я мог с радостью приготовиться как можно скорее явиться к месту своего назначения. В приятнейшей надежде получить скорее решение моей участи, остаюсь с глубочайшим уважением и преданностью

Вашего Превосходительства,
Милостивейшего Государя моего
почтителынейший слуга
Х. Абовян
1839 г. 9 апреля. Тифлис.

Духовные «отцы» всячески и всемерно запутывали дело ложными указаниями и добились решения попечителя в пользу Авакова. Когда пятого мая 1839 года Мусин-Пушкин получил письмо Абовяна — консисторские крысы уже добились своего.

Тринадцатого мая 1839 года попечитель пишет военному губернатору Тифлиса ответ на письмо Абовяна. «Я обращаюсь к Вашему Пр-ву с покорнейшей просьбой приказать через кого следует объявить г. Обовьяну, что для означенной кафедры есть уже в виду лицо, которое занимается теперь составлением требуемого для того сочинения. Почему до окончательного о нем решения я не могу удовлетворить просьбу г. Обовьяна».

Вероятно в последних числах мая губернатор известил Абовяна об ответе попечителя и по-видимому к этому же сроку Абовян разузнал подробности про интриги черноклобушников. Во всяком случае, первого июня 1839 года он пишет министру просвещения графу Уварову письмо, которое я воспроизвожу по копии. Письмо написано, по-видимому, по-русски.

По распоряжению Уварова, была снята копия и переслана попечителю Казанского университета. С этой копии мы и делаем список:

«Ваше Высокопревосходительство

Милостивый Государь!

Пылая желанием быть полезным своему отечеству, я с самых юных лет стремился открыть себе путь на поприще службы и в начале развития моих понятий, сколько мог, о свете, я удостоился быть сотрудником путешествующему к Арарату г. Парроту.

Сей незабвенный для меня человек дал мне повод думать, что я могу употребить с пользою свои услуги для мудрого и благонамеренного Правительства и по предстательству его я, с Высочайшего разрешения, был отправлен для образования в Дерптский университет, где благодаря Всевышнему и попечению моих наставников, получил нужное для себя образование. По окончании сих трудов отправлен в Грузию при рекомендательных письмах некоторых из благодетельных и знатных лиц, дабы этим предоставить мне должность и место, по возможности соответствующее образованию; но судьбе было угодно низвергнуть меня с пути, столь счастливо начатого. Соотечественники мои отвергнувшие меня уже раз через оставление мною духовного звания и принятие светского (ибо я происхожу из духовного звания) не изъявили во мне ни малейшего участия и я остался принужденным снискивать себе трудами необходимое содержание, впоследствии едва мог испросить себе настоящую должность Штатного смотрителя при Тифлисском уездном училище. Таким образом я должен был

продолжать службу мою, хотя и тут для соотечественников неприятную. Эти единоземцы довершали свое негодование еще более важным периодом, который и вынудил меня представить Вашему Высокопревосходительству все угнетающее:

В минувшем 1838 году я просил содействия Академика Френа, в довершение давно пылавшего во мне рвения к Армянской литературе, и сей благодетельный для меня человек просил об этом попечителя Казанского университета, который обещал ему (как уведомил меня г. Френ) испросить Высочайшее соизволение на открытие должности Профессора Армянского языка при Казанском Университете (каковое место и открыто, как я узнал впоследствии частным образом). Писали обо мне в Астраханское Армянское Духовное Правление и во все Духовные Армянские Правления в Грузии с тем, чтобы объявили мне об этом вызове, но соотечественники мои скрыли от меня это приглашение, отозвавшись в этот Университет незнанием, и я остался до сих пор лишенным сего единственного для меня места.

Повергая все вышеизложенное на усмотрение Вашего Высокопревосходительства, я осмеливаюсь изложить и то, что как обстоятельство уже известное между соотечественниками моими, много раз стремившимися к уничтожению развивавшегося моего поприща в службе: поприща, в котором я единственно только мог быть полезным. И теперь, лишением сего места при Университете, я остаюсь совершенно обезоруженным, без малейшего успеха продлить более свои услуги в настоящей должности, на которые они будут смотреть как на униженность. Почему позвольте, Ваше Высокопревосходительство, обратить внимание Ваше в том убеждении, дабы продлить с большею еще пользою труды свои отечеству, и всепокорнейше просить — назначения в должность Профессора Армянского языка при Казанском университете, как месте, к которому я уже был вызываем и несправедливо почти лишившегося его из-за моих единоземцев и еще более потому, что оставаясь при прежней должности, при всем желании быть полезным, не могу уже иметь доверия, что необходимо учителю, со стороны лиц ненавидевших меня.

С глубочайшим высокопочтением и таковою же преданностью осмеливаюсь наименоваться Вашего Высокопревосходительства покорнейший слуга.

Х. Абовян».

Нужно думать, копия сделана без надлежащей тщательности, но я не счел возможным вносить исправления: всякое исправление ослабило бы обнаженный трагизм этого

человеческого документа.

Посылая это письмо, Абовян был еще твердо уверен, что С. Уваров, очень заинтересован в развитии просвещения среди армян, он верит, или делает вид, будто верит, что предшественник Уварова его готовил для того, чтобы он служил «своему отечеству», а не был бы проповедником влияния и культуры «отечества» Уварова. Он очень боится перспективы отказа, поэтому все письмо написано в просящем тоне. Сквозь эту просьбу видна боязнь остаться в обществе все тех же живодеров. Непринятый в родной стране, он надеялся в Казани продолжить дело подготовки кадров будущей демократической культуры.

Второго июня 1839 года Уваров переслал прошение Абовяна попечителю университета с «покорнейшей просьбой» доставить заключение по нему.

Каково было заключение попечителя, материалы нам не освещают, но Абовяна допустили к испытаниям наравне с клевретом астраханских попов, о чем мы узнаем много позже из письма академика Броссе, адресованного попечителю. К нему мы еще вернемся. Теперь же продолжим обзор событий, придерживаясь хронологической последовательности.

Двадцать девятого августа 1839 года Академия Наук опубликовала в «Известиях Академии» следующие условия конкурса на звание профессора кафедры армянского языка:

«По поручению Е. В. П. Г-на Министра Народного Просвещения Императорская Академия Наук доводит сим до всеобщего сведения об открытии конкурса для замещения новоучреждаемой кафедры армянского языка и литературы при Императорском Казанском Университете.

Так как желательно, чтобы назначенный на сие место профессор с полным знанием своего предмета соединял также основательное ученое образование, то сим приглашаются туземные ученые, желающие участвовать в конкурсе для получения кафедры, доставить Г-ну Непременному Секретарю Академии уже напечатанные труды свои, или за недостатком таковых относящуюся к языку, истории или литературе Армении диссертацию, вместе с критическим переводом какого-либо армянского сочинителя. Труды могут быть сочинены на русском, латинском, французском языке, и, буде рукописи, должны быть четко написаны. Оклад ординарного профессора простирается до 4000 р. ассигнациями, и 500 р. ассигнациями квартирных денег.»

Шестимесячный срок для представления работ истек в марте. Соискателями выступили двое — известный нам протеже астраханских попов — Аваков и Х. Абовян.

Хотя и был Абовян в заблуждении на счет намерений

Уварова, но на письме к нему не успокоился. Он готовился к предстоящему конкурсу, с объявлением которого Академия задержалась потому, что к лету все академики разъехались и некому было составить объявление (объяснение Уварова).

Когда Абовян послал свои работы на конкурс? Нужно полагать — к февралю 1840 года, ибо по свидетельству академика Броссе к секретарю Академии первыми поступили работы Абовяна, а Уваров пишет, что первые работы пришли «не задолго до минования срока». Одновременно он написал письмо к академику Френу, которое, следовательно, должно относиться также к первым двум месяцам 1840 года.

Письмо это в полном виде нам неизвестно, но отрывки, приведенные Шахазисом, чрезвычайно важны. Они дают ключ к пониманию того, как много надежд возлагал Абовян на своих «благодетелей» и сколь жестоким должно было быть его разочарование.

«Не надеюсь, чтобы подобные работы (представленные на конкурс) соответствовали тем требованиям (которые были выставлены Академией — В. В.), но если бы они удовлетворили, я был бы очень рад, в противном случае я бы просил дорогого господина действительного статского советника (т. е. Френа — В. В.) по крайней мере не считать мою работу бесцельной. О годности грамматики Таппа несомненно не будет возражений, а к другой моей книге я должен приложить объяснение на немецком языке. Я ей посвятил целые ночи. Гессенмюллер (инспектор училища) распорядился начать набор, но когда над ним стряслась эта беда (его отставили от должности — В. В.) дело осталось без призора. В своем объяснении я коснулся всего важного, здесь же я еще добавлю, что сделал расходы. Неужели все эти мои труды должны пойти насмарку? Но я был бы всего более огорчен, если бы Академия не вникла в цель и оставила, чтобы этот несчастный народ днем ходил во мраке. Я могу писать на древне армянском языке, но необходимо сперва осуществить то, что настоятельно потребно. Поэтому надеюсь, что Вы и мой покровитель, многоуважаемый академик Броссе, не оставите без внимания мою просьбу об издании моего сочинения».

Дальше мы увидим, как отнеслись к его просьбе «господин действительный статский советник» и «многоуважаемый покровитель Броссе».

Марий Броссе (Всесоюзная Ленинская биб-ка)

На конкурс Абовян прислал две своих работы. Ниже мы дадим о них реферат академика Броссе, который был назначен рецензентом, по рекомендации Френа. Броссе седьмого мая 1840 года обратился к попечителю с письмом, где весьма осторожно излагал свой взгляд на задачи кафедры, спрашивая мнение университетских заправил. Ему казалось, что Авакова выдвигает попечитель университета Мусин-Пушкин, поэтому хитрый академик вскользь дает ему понять, что он не прочь помочь ему протащить того в профессора: «Один из двух конкурентов, Аваков, чья работа помечена Астраханью, то, что мне дает полагать, что Вы должны его знать (слово неразборчиво)… занялся своей древней литературой, в то время как второй, Абовянов, директор гимназии в Тифлиссе, смотрит на книжный язык Армении или скорее на распространение этого языка как настоящую (помеху) для цивилизации своего народа и

рекомендует в первую голову язык народный (Vulgare) или новый. Все те из наших господ, кто его знает, воздают ему большую похвалу, оценивают его как выдающегося армянина и как очень способного для распространения подлинного света на своей родине. Однако его преувеличенная любовь к народному армянскому языку может делать его более годным на должность учителя, которую он имеет в настоящее время, чем профессора в университете».

Хотел ли Броссе предупредить желание «господина попечителя» протащить своего человека или с академической изысканностью он доносил о желании господ петербургских «благодетелей», чтобы Абовян остался на Кавказе, судить трудно. Всего вероятней мы в данном случае имеем и то и другое: душа академика достаточно вместительна, чтобы вместить несколько чувств, сходных с отмеченными.

Не дожидаясь ответа, Броссе представил свое заключение Конференции Академии Наук и, получив одобрение, передал его министру просвещения. Заключение представляет несомненный интерес для биографии Абовяна, ибо обе представленные Абовяном рукописи были ему возвращены и не были никогда изданы, о них мы можем судить лишь по пересказу академического референта.

Вот это заключение. Из него я извлекаю только то, что имеет прямое отношение к Х. Абовяну и его двум работам.

«До 1 марта 1840 года представили свои работы только двое: Абовян и Аваков. Работы Абовяна, полученные первыми в Академии, суть: «1) «Русская теоретическая и практическая грамматика на армянском книжном языке» по методу Таппа. Это, вернее, армянский перевод книги Таппа с предисловием на русском языке. 2) «Книга для чтения, составленная по методу лучших специалистов, предназначенная для юных армян». Она написана на народном языке, к ней приложена краткая статья (на немецком языке) о целях издания.

Аваков же представил «Беглый очерк армянской литературы». Из этого краткого сообщения легко видеть, что ни один из двух соискателей не выполнил целиком условий конкурса, первый совершенно уклонился от темы, дав вместо литературного труда перевод чисто практического пособия, не имеющего никакого отношения к армянской литературе, а также руководство для обучения детей чтению, второй же дал по крайней мере собственный литературный труд, заключающий кой-какие научные изыскания…

С другой стороны, первый автор возбуждает в своих трудах, очень значительных, совершенно новый вопрос, который прямо

касается будущего армянской кафедры в Казанском университете и решение которого зависит исключительно от властей, создавших ее. Вопрос этот настолько важен, что независимо от мнений о сравнительных достоинствах представленных работ, станет основным вопросом, от решения которого будет зависеть судьба соискателей».

После подробного разбора работы Авакова академик продолжает:

«…Перейдем теперь к трудам другого соискателя. Его мысль — перевести на армянский язык прекрасную русскую грамматику Таппа — без сомнения очень похвальна. В то время как министр (народного просвещения) с такой энергией и рвением осуществляет мысль о развитии изучения русского языка во всех университетах империи, автор своей попыткой положить начало изучению этого языка армянами доказывает, что он понял свое время и истинные нужды своих компатриотов. В русском предисловии он излагает вышедшие до него труды по облегчению изучения русского языка армянами. Он основательно осуждает систему транскрипции русских слов латинскими буквами, усвоенную Минасом, переводчиком на армянский язык русской грамматики, систему построенную на итальянском произношении, притом очень несовершенном. Так как итальянское произношение конечно неизвестно ученикам, изучающим русский язык, то систему Минаса никак нельзя похвалить. Автор осуждает также способ передачи отдельных звуков русского языка армянскими буквами… М. Петерман (Берлин) автор новой армянской грамматики доказывает многочисленными примерами своевременность перехода к более точной транскрипции. Я вполне разделяю этот взгляд и с удовольствием вижу, что и наш армянский автор того же мнения, хотя оно ему не было известно. Я все-таки отметил на его рукописи несколько неисправностей в деталях, которые, я полагаю, должны исчезнуть из его системы, чтобы сделать ее вполне правильной и логически совершенной…»

«Я тщательно читал этот перевод (грамматики Таппа — В. В.), сравнение с оригиналом убедило меня в том, что текст переведен совершенно точно, я мот отметить только несколько незначительных пропусков, о которых автор сам упоминает в предисловии, несколько изменений в области материала, а также удачное приложение об улучшении за последнее время политики народного образования в Закавказьи».

«…Второй труд этого же автора, его «Книга для чтения», состоит из двух частей: теоретической и практической.

В немецком вступлении, которое было прочитано г. Френом и

получило его прекрасный отзыв, автор излагает историю изменений и упадка древнего армянского языка, он говорит, что последний совершенно вышел из употребления в Армении, где одно только духовенство (и то не без исключений) знает его и пользуется им, хвалит преимущества современного языка, его простоту, настаивает на необходимости обучить армянский народ правилам нового языка и устранить старый язык, утверждает, что игнорирование нового языка и сохранение старого есть причина глубокого невежества, в которое погружен народ и само духовенство: в осуществление этих целей он и составил свою хрестоматию на народном армянском языке.

Если автор этого труда предназначается на должность ординарного профессора Казанского университета, то подобные утверждения его никак не позволяют думать, что он в состоянии выполнить с честью свои обязанности. Здесь и возникает вопрос, возбужденный его трудами, о чем я говорил в начале своего доклада. В каких целях была основана в Казанском университете кафедра армянского языка? На какого рода слушателей рассчитываются профессорские лекции и чему они могут научить? Таковы первые вопросы, которые задаешь себе, когда составляешь представление о взглядах автора».

Дальнейшие рассуждения академика имеют дурной привкус заботы о том, чтобы на всякий случай гарантировать себя от упреков в чрезмерном расположении к Абовяну.

«Казанский университет — не гимназия и не начальная школа для детей — школа первой ступени, как мы называем ее во Франции — университет есть очаг высших знаний, где ученые сообщают умственно подготовленным людям знания, превышающие детское понимание. Казань — полуевропейский, полуазиатский город — должна стать по мысли правительства цивилизаторским центром для подвластных империи народов Азии. Уже языки арабский, татарский, персидский, китайский, монгольский имеют в нем своих лучших представителей, которые учат азиатов ценить их старые литературные сокровища и побуждают учащееся юношество открывать новые. Когда к этим языкам присоединится армянский, то почти все будет сделано для создания полной энциклопедии азиатской культуры, которую хотят обосновать в Казани…

…Если таково действительно требование, которому призвана удовлетворять армянская кафедра в Казанском университете, то является вопрос, способен ли автор с особенностями его взглядов удовлетворить эту цель?

На этот вопрос автор отвечает своими работами, в которых утверждает, что книжный язык Армении есть язык мертвый для

народов, происходящих от Гайка, что он бесполезен и даже вреден для обучения слушателей неподготовленных и лишенных рвения».

Далее мы выпускаем длинный экскурс академика в область армянской лингвистики. Они не интересны, не блещут новизной и смелостью и явно рассчитаны на уровень Уварова.

«…Спросите теперь у литераторов, какой из двух армянских языков они предпочитают, ответ ясен, но обратитесь к народной массе, сообразите ее требования и нужды и ответ будет не менее бесспорен. Без сомнения, университет, который захочет блистать наукой, высокой культурой армянской филологии, должен практиковать высшее образование, образование, которое будет в свою очередь способствовать цивилизации Армении, должен будет дать юношеству преподавателя, хорошо знающего народный язык, способного писать на этом простом языке, на котором говорят несколько миллионов людей… Ведь нельзя забывать, что армянский народ еще необразован, его надо приобщать к культуре, это народ невежественный, среди которого элементарная грамотность большое и редкое явление…

Откуда же придет свет, который рассеет мрак? На старом языке только книги, которых никто не читает, никто не понимает, которые трактуют вопросы религии, из которой народная масса берет одну лишь обрядовую сторону, на новом языке — ни одной книги. Цивилизация может прийти в Армению только через посредство народов более культурных по сравнению с ней, посредством чтения книг, написанных для нее на основе лучших книг европейской культуры. Быть может в этом главное назначение этой армянской кафедры, основанной на европейских границах Российской империи — на стыке Азии и Европы.

Вот мысли, подсказанные мне не личным убеждением, так как я не очень высоко ставлю народный армянский язык, но пожеланием, которое высказал автор разбираемого труда, а также долгие и частые беседы с людьми, хорошо на практике знающими Армению, интересующимися судьбой благородной нации, жаждущей прогресса и способной сделать быстрые успехи в этой области (пользуюсь словами одного выдающегося лица), лишь бы только ей была оказана помощь и покровительство. И вот появился человек, который взял на себя миссию просветить свои народ, который со всей страстью отдается этой святой задаче и которого не остановили преследования и противодействие. Он понимает, что умственное развитие его народа находится в руках России и составляет грамматику, которая может дать его соотечественникам возможность почерпнуть знания из русских книг. Он не презирает многочисленный класс простого народа, он

готовит для него в своей «Хрестоматии для чтения» книгу, вполне ему доступную. Он разрабатывает для него особый метод элементарного образования, он показывает, что хочет и может распространить образование при помощи нового метода… Будет ли осуществлено его желание?».

Кому же академик адресует вопрос? Разве не от него зависело решение? Может и впрямь от него ничего не зависело? Может потому он и двоил свою душу, что давили на него «решающие?» Как бы там ни было, но академик ясно понял, в чем гвоздь вопроса.

«Нам остается теперь рассмотреть его книгу и его метод.

В кратком предисловии автор излагает свои взгляды на воспитание детей и юношества с горячностью, делающей честь его усердию. Я думаю, однако, что ему следует устранить те места, где он поносит невежество и злую волю армянского духовенства, этих защитников метода, явную устарелость которого можно сделать очевидной путем простого предложения нового, совершенного метода, не прибегая к ругательствам и оскорблениям. Мне кажется, что ни в коем случае не следует допускать тех энергических выражений, которыми автор клеймит отрицательные стороны церковного просвещения в Армении.

Автор прежде всего требует, чтобы дети усвоили алфавит не в виде искусственных армянских названий букв, как это имеет место почти во всех алфавитах мира, он хочет, чтобы согласные буквы назывались по начальным звукам их значений, и думает, что это сократит и облегчит их усвоение.

Я полагаю, что краткость этих новых названий действительно облегчит усвоение алфавита, но, с другой стороны, я считаю, что не надо преувеличивать полезность такого применения….

Когда ребенок научится различать буквы, что, по мнению автора, требует очень мало времени, он переходит к чтению отрывков, имеющихся в «Хрестоматии» эти отрывки заключают нравственные предписания, молитвы, полезные и занимательные рассказы и даже стихи, в числе которых есть и собственные творения автора.

Если рассматривать эту хрестоматию как книгу для чтения для детского возраста, то она не без достоинств, хотя и не выдающихся.

За то время, когда я имею честь носить звание академика, мне было представлено для отзывов много армянских книг: некоторые были отвергнуты, иные приняты в качестве учебников для школ. Еще недавно я считал себя вправе давать одобрительные отзывы о таких грамматиках, которые были составлены исключительно для книжников (сторонников

книжного языка — В. В). Когда я исследовал их, я никак не предполагал, что мне скоро придется переменить свое мнение о них. Зная Армению только по небольшому числу книг, из которых я черпал научные сведения о ней и о Грузии, не будучи силен в армянском народном языке, крайне бедном по средствам его изучения, я рассуждал как теоретик. Если ныне я развиваю мысль о преимуществах нового языка, то это благодаря нашему автору, внушившему мне эту идею, а также благодаря доводам знающих людей, доказавших мне правоту этого взгляда.

Мне думается, что всякое мнение, разделяемое и поддерживаемое многими, должно быть утверждено, развито и распространено, хотя бы только с той целью, чтобы привлечь к нему внимание высших властей, чему я и посвятил значительную часть моего доклада.

Выводы:

Ввиду того, что условия конкурса, выставленные Академией, не все были выполнены, никаких решений вынесено не было…

Второй соискатель Абовянов из Тифлиса показал себя преданным делу преподавания, проникнутым святостью своих обязанностей, человеком вполне способным их выполнить. Он сопровождал г. Паррота-сына в его путешествии на Арарат и показал столько склонности к занятию науками, что ученый профессор увез его с собой в Дерпт. Там в несколько лет он усвоил языки — русский, французский, немецкий. На последнем он хорошо пишет, как уверяет г. Френ. Окончив курс с отличием, он вернулся на родину и посвятил себя народному образованию. Новизна, или быть может превосходство его взглядов встретили более чем холодный прием со стороны части его соотечественников, особенно духовенства.

В настоящее время он служит инспектором народных училищ в Тифлисе. Все мои коллеги, которые его знают, питают к нему самое искреннее уважение. Было бы желательно, чтобы он получил возможность применить свои познания в области литературы. Что касается его произведений, то я думаю, что «Метода» Таппа должна быть издана на армянском народном языке, на котором говорят в русской Армении. Абовянов мог бы впоследствии составить хрестоматию для чтения, используя в качестве основы армянские материалы и руководствуясь планом такой книги, который я предложил выше. (Этот план я не привожу — В. В.). Затем он мог бы последовательно перевести на народный язык главные сочинения, имеющиеся на книжном языке, перевод которых будет признан необходимым».

Броссе, экстраординарный профессор.

13 мая 1840 г.

Из этого документа совершенно ясно, что Абовян написал свою «Книгу для чтения» на народном армянском языке в первые же годы по возвращении из Дерпта, что «Книгу» он написал не как простое руководство, а как боевое антипоповское произведение, и, что «Книга», посланная на конкурс, есть его знаменитое «Предтропье».

Итак «Предтропье» наиболее раннее из произведений Абовяна после его «Дневников», а предисловие к этому учебному пособию — его платформа. Судя по публикации «Оризона», Абовян значительно сгладил антиклерикальное острие введения, приведшее в ужас благочестивого и трусливого академика. Не будет рискованно, если предположить, что Френ ему посоветовал произвести эту кастрацию и что он под влиянием его советов смягчил введение. И тем не менее «Введение» и по сей день читается как великолепный манифест демократической педагогики.

Несомненно немецкое введение к «Предтропью» было еще более интересно — дело чести для историков сороковых годов рыться в архивах Френа, в бумагах министерства, в архивах Академии Наук и найти эту страстную антипоповскую исповедь раннего демократа, а пока мы можем о ней судить по изложению Броссе, и по этим слабым отсветам понять, до чего меднолобые попы должны были его ненавидеть.

Читатель без труда заметил, что академик Броссе все время колеблется в своих выводах. Вначале он «убил» Абовяна, объявив его приверженство народной речи препятствием для занятия кафедры, а под конец сам подпал под сильное влияние Абовяна в этом остром вопросе. Думаю, не ошибусь, если предположу наличие сильного давления на обоих академиков. Давили, вероятно, «благодетельные» министры и сенаторы (вспомните слова «выдающегося лица»), которые знали о том, что Абовян принципиально стоит за светское образование против духовного, что Абовян — за массовое приобщение к современной западной культуре, хотя бы на русском языке, что Абовян стоял за культивирование в армянских школах русского языка. Они надеялись использовать его на Кавказе для своих ассимиляторских целей. Давили, вероятно армянские колониально-буржуазные круги, которые были заинтересованы в быстром завершении национальной консолидации и не хотели выпускать Абовяна из Закавказья. Давили, вероятно, такие великие «патриоты», как Назарян и ему подобные молодые либералы, которые хорошо понимали великое значение программ демократических реформ, провозглашенных Абовяном, но которые были бы рады эту программу осуществить издали,

предоставляя приятный жребий столкновения с церковными инквизиторами восторженному Абовяну… В результате всех этих влияний академик, несмотря на явное расположение к Абовяну, несмотря на высокую оценку его талантов, дал заключение достаточно противоречивое, и Академия не приняла никакого решения.

Академии вовсе не нужна была демократическая революция языка. Она была бы счастлива взвешивать в своих трясущихся руках скучный продукт схоластической эрудиции, который назывался «ученым» трудом…

Какое ей было дело до того, чтобы вывести «этот несчастный народ» на путь просвещения, на солнечный свет?

Уваров прислал работы Абовяна попечителю Казанского университета при письме от шестнадцатого июля, в котором предоставил последнему решение вопроса. Попечитель это «доверие» министра понял как отказ. Получив в начале 1841 года предложение Уварова, Мусин-Пушкин послал работы Абовяна через Тифлисского военного губернатора ему обратно.

Тифлисское отражение казанских неудач

Абовян обнаружил превосходные способности предвидения, когда он написал гр. Уварову, что отвод его кандидатуры на кафедру сделает его положение невозможным.

Все его враги предельно обнаглели. Духовные и светские варвары, клятвопреступники, лгуны и лицемеры начали против него интриги, пуская по его адресу клевету, сочиняя на него доносы.

Когда Абовян вновь сделал попытку напечатать свою «Книгу для чтения» на новом армянском языке, она попала на рецензию к его злейшим врагам, они провели через педагогический совет тифлисской гимназии определение, которое без глубочайшего негодования нельзя читать даже теперь, спустя более трех четвертей столетия, настолько оно недобросовестно и реакционно.

История началась с того, что в согласии с определением Академии Уваров пожелал свалить издание работ со своих плеч на плечи местных органов. Денег в смете министерства народного просвещения не оказалось! Двадцатого февраля 1841 года он обратился к наместнику Головину с запросом, не мог ли бы последний оказать содействие в издании книг Абовяна, буде автор внесет в них те изменения, которые были указаны академиком Броссе (вот откуда шло давление, в целях смягчения антипоповского острия предисловия!). После этой переписки Уваров распорядился вернуть Абовяну его рукописи.

Абовян передал свои рукописи наместнику с просьбой напечатать их на казенный счет. Головин распорядился поручить директору Закавказских училищ Кнопфу еще раз подвергнуть просмотру представленные рукописи. Кнопф прибег к помощи злостного реакционера Араратяна, школьного товарища Абовяна. Но пока рецензент знакомился с рукописями, Кнопф умер. Заместитель его, Росковченко, твердо решил книги не пропускать. Письменный отзыв Араратяна он передал без смягчения на рассмотрение педагогического совета. А. Ерицян опубликовал «определение» этого совета.

«Книга для чтения Абовяна на араратском наречии, — говорится в нем, — написана специально для учеников, с которыми он занимается на дому и то на эриванском просторечии, которое перемешано с другими соседними языками и лишено всех достоинств и законов книжной речи (то есть

«грабара» — В. В.). Его коротенькие нравоучения написаны сухо и бессвязно (!! — В. В.). Мужицкие песни и острословия обезображивают изложение».

Учителей коробят неприглаженные мужицкие поговорки, и потому педагогический совет нашел книгу для употребления в казенных школах бесполезной: 1) Простая речь, которой записана эта книга, не имеет грамматических правил, 2) книга — продукт незрелого мышления, 3) в ней бесчисленные ошибки как против языка, так и против вкуса.

Эти блюстители хорошего тома, ханжи и лицемеры были безграмотны, недобросовестны, грубы, били учеников, драли чины — как вынужден был признать в своем указе наместник. И, несмотря на это, они выиграли дело!

Нет, я не прав.

Именно поэтому они выиграли дело!

Но неудачи этим не ограничились.

Наместник Головин требовал от директора казенных школ точной характеристики учителей, служивших в казенных школах. В 1842 году директор представил характеристики всех педагогов и там про Абовяна написал следующее: «Исправляющий должность штатного смотрителя Тифлисского уездного училища, Абовян прекрасных нравственных качеств и весьма старателен, особенно к своим педагогическим обязанностям, но как смотритель училища — неудовлетворительных качеств и неспособен поднять вверенную ему школу до того уровня, чтобы стать образцовой в Закавказьи». Этот донос явно намекал на демократический характер его методов обучения и на демократизм его отношений с учащимися, так резко отличавшийся от царившей тогда системы зуботычин и унижения человеческого достоинства, пренебрежения к запросам и мыслям учащихся.

Абовян был в их глазах виновен одним тем, что не ввел у себя в школе истязаний. Какая дисциплина без мордобоя? Какая образцовая школа без «дисциплины»? Они мстили Абовяну за высокие педагогические познания, за его большие успехи в своей школе. Это был удар зависти, невежества и провинциального тупоумия.

Было совершенно естественно, что после такой «характеристики» должно было последовать снятие Абовяна с должности и перевод его из Тифлиса в провинцию.

Абовян, конечно, имел возможность снискать себе благорасположение начальства. Ему достаточно было для этого умерить свое демонстративное новаторство, не быть столь прямолинейно-демократичным. Но к великой чести Абовяна надо

сказать, что он сквозь все лишения и неудачи гордо пронес знамя независимости в вопросах воспитания.

Нет ни единого примера, когда бы он отступал хоть на шаг от своих демократических взглядов в угоду каких-либо выгод, интересов или из желания хоть немножко облегчить свою участь и успокоить вокруг себя море вражды и злобы клерикальных ослов, феодальных дегенератов, несчастных обманутых невежд и просто завистливых мелких людишек.

На это нужно было великое мужество, и здесь мы видим невероятную для той среды стойкость.

Но положение рано пришедшего демократа, несгибаемая последовательность взглядов, — все это неизбежным образом вело Абовяна к трагической развязке. Столкновения на педагогическом поприще уронили его реноме в глазах петербургских покровителей, тем более, что как раз в 1842 году умер его учитель, заступник и друг Паррот. И те же столкновения показали ему всю глубину несоответствий, между его устремлениями и программой «надежд», каковые на него возлагала чиновно-лакейская, сановная челядь. Это было тяжелым разочарованием и благотворным очищением одновременно, еще одно столкновение иллюзий с действительностью, после которого иллюзии оказались разбитыми, а демократические истины очистились от ветхих рубищ провинциализма, партикуляризма и патриотизма.

Это была трагическая и в то же время благотворная неудача.

Трагическая для него лично и благотворная для его идей.

Сквозь письма Назаряна

Писем Абовяна к Назаряну я в литературе не встречал. Я их не нашел ни в одном указателе. Возможно, что они ускользнули из поля моего зрения. Но если они не были напечатаны, то они погибли, как погибло огромное количество писем, дневников и рукописей Назаряна совеем недавно, на наших глазах.

Эта переписка известна мне лишь по односторонним публикациям «Мурч'а и Тараз'а» через письма Назаряна.

Но какое изумительное зрелище представляют эти несколько писем Назаряна.

Сквозь благопристойную, ученую, салонно-выдержанную, слегка сверху вниз смотрящую проповедь общерусского стиля либералишки нет-нет да и пробивается радуга страстей Абовяна, вопль отчаяния и восторг проснувшегося человека, все крайности благороднейшего демократа, оставившего все блага цивилизации ради внедрения света и культуры среди сотен тысяч отсталых, темных, измученных и эксплуатируемых.

На этих письмах я хочу задержать внимание читателей, хотя и нарушая пропорции книги, но избежать этого не могу. Чтобы оценить Абовяна надо видеть его рядом с таким обстриженным со всех сторон европейцем, как Назарян. Невознаградима потеря писем Абовяна. Но мы не можем на этом основании отказаться от нашего намерения: мы попытаемся видеть его сквозь письма Назаряна.

Первое письмо по приезде в Тифлис было краткое, вероятно, сухое и официальное, Абовян был недоволен Назаряном, не принимавшим надлежащего участия в его проводах из Дерпта. Ответ Назаряна — сплошное оправдание, извиняющееся объяснение причин. Объяснения странные, никого ни в чем не убеждающие. Сомнительно, чтобы они удовлетворили Абовяна. Зная Назаряна, можно бы предположить, что этот размеренный либерал имел какие-то более веские основания очутиться занятым в день отъезда Абовяна. Такое предположение весьма правдоподобно, но мы решили держаться только фактов, поэтому ограничим себя.

Вскоре боль от тифлисских неудач пересилила неприятное чувство и Абовян написал искреннее письмо. Впечатление свое от этого письма Назарян резюмирует словами, которые отраженно сохранили на себе огонь речей Абовяна.

«Сообщенное тобою из Тифлиса о наших соотечественниках меня опечалило и подтвердило ранее высказанные слова. Естественно, действительность эта печальна. Порок господствует

на золотом троне и никто не обращает внимания на целительные предложения в пользу народа. Слышу о тех мысль и душу раздирающих грехах, какие ты описываешь в своем письме… Ты говоришь: «я должен оставить дом и родину и искать себе новые» — из этого я могу вывести, сколь несносно тебе твое окружение. Но скажи, Абовян, неужели честные чувствительные сердца наших потомков не наложат печать проклятия на наш отход от отечества».

И дальше длинная проповедь необходимости терпения, необходимости для реформаторства длительной борьбы и т. п. Он с размеренностью истого либерала успокаивает Абовяна, призывает к терпению, и, наконец, взывает к его аннибаловой клятве служить народу. С черствостью стороннего наблюдателя Назарян отвечает на душераздирающий вопль плоскими и пошлыми общими местами…

Десятого февраля Абовян опять пишет Назаряну, страстно изливая перед ним свою душу. Назарян отвечает: «Четвертого сего месяца получил твое письмо от 10/XI и из него я ясно вижу, каково твое положение. Ты не удручайся, а крепись терпеливо и решительно, пока перед тобой не откроется лучшее будущее. Нет ничего величественнее, нигде человек не кажется таким великим, как в войне против господствующей силы, как в борьбе против мнимой неустранимой судьбы, за утверждение правого дела — своего достоинства»… «Тысячу благодарностей создателю и гуманным товарищам (в их числе и Абовяну! — В. В.), что я спасся из этого развращающего потока, имел счастье духовно отдохнуть в кругу культурных людей».

О, жалкий либеральный заяц! Твой создатель тебя уже тем спас от испытаний, что создал столь рыбокровным!

Несколько ниже он продолжает: «Так как ты без работы, не понимаю, как ты живешь без средств в чужом городе. Вильгельм Краузе мне сообщил, что тебе поручили должность на сто рублей серебром и ты отказался, но почему, не пойму. Скажи, после экзамена на звание учителя ты никакой должности не получил? Как я слышал, Паррот на основании твоей просьбы хочет добыть тебе чин. В России раз и навсегда так: личные достоинства ни во что не ставятся».

Двадцатого марта он благодарит Абовяна, что тот его спас из этого ада, а двадцать восьмого августа увещевает его «подчиниться судьбе» и оставаться в этой «развращающей среде». «Боль твоего сердца среди этих людей я себе ясно представляю. Дерпт, друг мой, тебя очень изнежил (избаловал), ты теперь должен подчиниться судьбе, которая, конечно, незавидна. Всесилие всеизменяющего времени, надеюсь, прекратит твои

жалобы… Сообщенное тобою о глупых взглядах армянского духовенства на счет лютеранской церкви наполнило мое сердце страхом. При таких обстоятельствах следует быть очень осторожным при сношении с людьми, которых душа навеки застыла в скорлупе — и неспособна подняться до уровня истины. Разумеется, ты теперь живешь в жалкой стране китайщины, где люди фанатически все свое преувеличивают, а чужое презирают. Какое несчастье жить среди людей, которые не имеют свободы мыслить… которые всю свою жизнь, как скоты, проводят окованные цепями заблуждений, и предрассудков»…

Эти письма разительны. Они вскрывают перед нами самую сердцевину назаряновского либерализма и его отличие от демократизма Абовяна. И хотя последний отраженный, однако столь ярко, что трудно не видеть его границы и резкие контуры. Либерал Назарян к тому же ханжа и лицемер, ценою чужой жизни решающий «национальные проблемы», ханжа, ибо «вопреки своим проповедям о необходимости принести себя в жертву идеалам, предпочел остаться вне этой «китайщины».

Одной рукой он писал Абовяну приведенные «утешения» со ссылками на «чувствительное потомство», а другой выводил слезницы Френу: «Нетрудно предвидеть, имея в виду враждебное отношение среды, что ожидающее меня положение на родине не будет подходящим для осуществления моих целей. Предвидя мое состояние среди моих тысячами предрассудков одурманенных компатриотов, кажется мне или даже ясно, что вдали от родины, вдали от недоверчивых и завистливых глаз армян много более продуктивно я могу воздействовать на них, чем работая в их среде».

И этот обыватель читал проповеди Абовяну!

Он звал Абовяна на подвиг, а сам изо дня в день готовил себе условия тихой, безбедной ученой карьеры в «цивилизованной» среде. Не хочу этим сказать, что и Абовян должен был последовать за Назаряном и не идти в среду грубой китайщины, клерикального террора и феодально-ростовщического произвола, что и он не должен был делать свое великое дело демократизации культуры.

Нет.

Но какое жалкое поведение героя армянского либерализма!

Поздняя либеральная легенда упорно культивировала взгляд, по которому дело Абовяна нашло в лице Назаряна лучшего продолжателя. Смбат Шахазис так прямо и писал: «Так Абовян и Назарян, Назарян и Абовян равнозначны в наших глазах. Цель обоих — одна и та же… выражаясь образно — Абовян впервые объявил войну, но, не успев обстрелять из пушек, сошел в могилу,

поле победы занял Назарян». Но Шахазис знает уязвимое место этой теории, а потому пытается ставить вопрос о том, почему Назарян не ездил в свою страну работать. Потому, — отвечает он, — что Назарян помнил судьбу Тагиадяна, он помнил, оказывается, каким преследованиям подвергался Абовян.

Шахазис невольно высказал правду!

Абовян и Назарян не одной фракции люди, это не только разные степени и темпераменты, но разные программы и разное отношение к народу, разное понимание своего долга перед народом и разное решение вопросов, поставленных социальной эволюцией страны. Эта разность с поразительной ясностью оказалась в вопросе об отношении к Казанской кафедре.

Злоупотребляя, быть может, терпением читателя, я приведу здесь два-три доказательства. Тем более, что документы эти не были опубликованы и представляют несомненный интерес для истории развития общественных идей.

После того как вопрос об Абовяне был решен, Уваров неожиданно обратился к Мусину-Пушкину с горячей рекомендацией Назаряна. Более того, он нашел «возможным оставить его» в Петербурге «на год для приготовления к званию адъюнкта по кафедре армянского языка в Казани» за счет казны (лист 160–161). Попечитель, конечно, охотно согласился, с полуслова поняв министра. В ответ на это Назарян написал письмо Мусину-Пушкину, которое привожу целиком.

«Ваше Превосходительство,

Милостивый Государь!

Идея Господина Министра Просвещения Народного восстановить славные, богатые памятники доселе малоизвестного в России языка Армянского, без сомнения, великая, прекрасная, полезная. Имея столь лестное для меня счастие быть предназначенным орудием к осуществлению этого похвального намерения России, поставлю себе непреложною задачей всеми силами стремиться к тому, чтобы оправдать доверие, коим уважило меня Правительство, не менее Вашего Превосходительства ко мне благорасположенное.

Пользуясь средствами, дарованными мне милостью Господина Министра Народного Просвещения, под руководством господ Академиков занимаюсь разными сочинениями на Армянском языке, сверх того изданием одного Сирийского историка, с коего перевод на Армянский язык в рукописи имеется в Азиатском музее Императорской Академии Наук.

Рад, неописанно рад я счастью, некогда под начальством Вашего Превосходительства подвизаться на поприще, мне предначертанном и доказать любовь и усердие, коими я

обязываюсь к России за благодеяния, излиянные на меня в разные эпохи моей жизни.

С глубочайшей преданностью имею честь быть
Вашего Превосходительства, Милостивый Государь,
покорнейшим слугою
Назарянц».
24 июля 1841 г.
Санкт-Петербург.

Назарян недаром был признан человеком подходящим. Он не имел программы, он не хотел ставить условий, он шел осуществлять «предначертания» царских ассимиляторов. Искренне ли? Быть может и нет. Быть может он уже тогда лелеял мысль, сходную с проповедуемой Абовяном программой. Но ее он припрятал так глубоко, что даже Уваров не пронюхал.

Десятого июня 1842 года Уваров утвердил его адъюнктом. По приезде в Казань Назаряна Мусин-Пушкин предложил ему составить доклад о преподавании армянского языка. Назарян двенадцатого сентября 1842 года представил эту свою платформу. Привожу ее почти дословно, сокращая только заключительную часть, где Назарян переходит к мелочам, и отбрасываю таблицу покурсового распределения предмета:

«ДОНЕСЕНИЕ
Адъюнкта Армянского языка Назарианца.

Вызванный Вами составить план относительно преподавания Армянского языка и литературы в Императорском Казанском Университете, вменяю себе в приятнейшую обязанность представить на Ваше благоусмотрение мнение мое о том, на каком именно основании должен Армянский язык войти в состав прочих восточных.

Чтобы соразмерить между собой средство и цель, чтобы избрать путь, способный вести к предположенной цели, не могу не распространиться о требованиях, кои Правительство соединяет с кафедрою Армянского языка и Литературы.

Преимущественное намерение Правительства при открытии Армянской кафедры, сколько мне известно, состояло в том, чтобы сделать доступным ученому миру драгоценные достоинства Армянской Литературы, хранящиеся доныне в глуши монастырей подвластной Ему Армении, чтобы дать возможность, пользуясь историческими памятниками Армян, осветить мрачные области Истории Востока. Сверх того возделывание Армянского языка на Русской почве казалась всегда важнее с того времени, как Армянская земля и народ соделались подвластными Русскому скипетру.

Слава и выгода России требовали ознакомиться с народом,

который в умственном отношении развил некогда богато цветущую жизнь, который однако целых пять столетий, служа яблоком раздора между различными варварскими завоевателями, среди беспрерывно бедственных судеб, потерял духовное значение свое и образование. Этот народ исследовать по его славному прошедшему, возбудить в нем восприимчивость для Европейской науки — значило бы разрешить один из высоких вопросов, кои предложила себе Россия, выбрав на себя великую роль посредницы между двумя противоположными мирами: Европой и Азией

Ясным сознанием обнимая эти благодатные цели, соединяемые Правительством с изучением Армянского языка, можно распространиться о том, каким образом достижимы намерения, столь важные».

Так Назарян беспрекословно согласился с мнением ассимиляторов, и, сообразно с их требованием, далее разрабатывает программу:

«Задача Армянской кафедры, на основании вышеизложенных целей не должна состоять в приготовлении одних переводчиков для некоторых практических потребностей России, напротив, главною руководящею мыслью при этом должно быть завсегда: на пути здравой теории проникать в таинственное устройство, во внутреннюю жизнь столь многосторонне развитого языка, и содействовать основательному разумению древних памятников Армянского духа. Армянская Кафедра, допустив благодетельность практического направления, не должна однако оставлять из виду, что назначение высшего учебного заведения, каково Университет, следить за наукою и обнимать ее с точки зрения безусловного ее достоинства.

Чрезвычайно как важным показывается Армянский язык и в том смысле, если он должен возделываться на Русской почве, чтобы послужить для Армян народным средством к образованию, коего они до сего лишены совершенно. Новая Европейская наука, в чужой одежде сообщаемая Армянам, неспособна приносить богатые плоды, ибо Армянское юношество на этом поле принуждено бороться с двоякими затруднениями: во-первых, языка, им чуждого, и, во-вторых, и самой науки. Возможность в народных формах переселить Европейское ~ знание на почву Армянскую удивительными примерами доказана уже ученым обществом Мхитаристов в Венеции, коих произведения в пользу образования Армян, к сожалению, весьма трудно приобретаемы в России. Некоторые патриоты Армянского народа, между коими блестит имя семейства Лазаревых (!! — В. В.), стараясь основать в России народное образование, весьма мало успели в этом деле.

Эта слава предоставлена ныне России, столь восприимчивой для высоких идей о благе подвластных Ей племен…»

Так и не рискнул Назарян сказать членораздельно что-либо о необходимости перехода от грабара к разговорной народной речи.

Степанос Назарьян

Таков этот герой армянской либеральной и националистической буржуазии. Можно ли объявить людьми одного лагеря, одного направления Абовяна и этого идейного хамелеона?

Только в 1844 году он сделал робкую попытку испросить у попечителя право на издание двухнедельника для распространения на общепонятном языке науки и просвещения среди народа[10].

Но как он это сделал! Прося разрешения на издание периодического органа он даже не осмелился указать на то обстоятельство, что собирается вести журнал, на новом языке и лишь по косвенным указаниям, да по армянскому тексту конспекта (он подал докладную записку Мусину-Пушкину на двух языках), который составлен на разговорном наречии, мы можем

предположить, что Назарян имел намерение вести свой орган на новом языке. У него спрашивают о будущих сотрудниках, а он трусливо ограничивает число участников… одним собой. Даже Абовяна не упоминает, хотя, конечно, знал о его работах в области внедрения «европейского просвещения» и знал о глубоких познаниях Абовяна в области жизни, быта, фольклора, этнографии и истории «родного народа», был точно осведомлен о чувстве одиночества, снедавшего Абовяна, о дикой травле его, о его тоске по товарищеской поддержке.

Уваров отказал ему в этом, ссылаясь на отсутствие в Казани цензора, владевшего армянским языком.

Таков Назарян. Размеренный либерал, «гибкий» оппортунист, совершенно равнодушный гелертер — он выражал собой наиболее хитрый, приспособленческий либерализм национальной армянской буржуазии.

Абовян же был воплощением назревшей потребности демократического мировоззрения. В нем все основные элементы демократического сознания до его последерптского страстного пути были заслонены рубищами национал-клерикальных преданий, предрассудков, заблуждений. Они были извращены самобытными иллюзиями, которые пришли дополнительно, как продукт западной культуры, скрещенной с ненужными фантасмагориями прошлого.

Нужна была всеочищающая школа действительности, необходимо было пройти сквозь огонь реальной жизни, сквозь лабиринты подлинных социальных противоречий классовых сплетений. Понадобилось мучительное шествие по этим катакомбам, чтобы иллюзии отпали, предрассудки изжились, фантасмагории рассеялись и демократические идеи обнажились во всей их неприкрашенной простоте, во всем их величии и несовершенстве.

Это и было содержанием его последерптокой жизни.

Но ранее, чем проследить далее этот процесс, позволю себе несколько уклониться в область теории.

Несколько слов о раннем демократизме

Очень коротко, почти схематически я коснусь вопроса о том, какими чертами характеризуется ранний буржуазный демократизм.

Не ради поучения, не из желания быть верным классическим канонам, а единственно в целях предупреждения возможного непонимания, из стремления предохранить себя от дальнейших бесплодных дискуссий, я хочу выяснить границы, хочу теоретически осмыслить природу явления, которое представляет собою идеологическое выражение подспудных экономических изменений и которое сигнализирует победоносное развитие нового социального уклада. Явление — самое возникновение которого было доказательством обреченности старых феодально-сословных перегородок, оно наиболее достоверно декларировало волю новых растущих классов.

Когда говорят о демократизме, у читателей может возникнуть представление о целом ворохе преступлений позднего буржуазного демократизма против рабочего класса. Но это историческая ошибка, ее нужно с самого начала устранить. Буржуазный демократизм после Великой французской революции — это нечто принципиально отличное от раннего революционного демократизма. Как отлично и от демократизма после чартистского движения к Революции 1848 года. Новые вехи в истории пролетарской классовой борьбы в корне меняли природу демократизма. Демократическое сознание переживает длительное развитие до революции (до того как буржуазия преодолевает феодализм), оно в процессе революции консолидируется как локально-классовое сознание буржуазии и выходит из горнила революции как тусклое воспоминание о былых «общенародных» выступлениях. Это закономерно и вполне соответствует социальной дифференциации, происходящей в эпоху революции и в результате ее. Чем яснее выделяется из общей бесформенной массы третьего сословия подлинный народ — пролетариат и трудовое крестьянство — тем решительнее буржуазный демократизм противостоит народу. Но это — конечный результат длительной борьбы, долгого развития и многократных трансформаций.

Оставаясь глубоко классовым, демократическое сознание в его ранней стадии коренным образом отличается от тех конечных модификаций, которым оно было подвержено.

Демократическое сознание стало формироваться как классовое сознание, всем своим острием направленное против феодализма, против сословного строя, против неравенства, против унаследованных привилегий, против невежества, насаждаемого церковью, против угнетения народных масс господствующими сословиями и абсолютизмом. Оно возникло как общенародное сознание, как идеология единого фронта всех угнетенных классов против феодализма.

Демократическое сознание — классовое сознание, но было бы очень упрощенно, если бы мы сузили это утверждение и механически объявили его выражением интересов одной лишь буржуазии. Там, где классовая дифференциация прошла начерно, лишь грубо наметив общие очертания и границы врагов старого общества, там мудрено искать строго определенное представительство классовых интересов. В ранних ступенях своего формирования демократическое сознание выражает интересы того общего антифеодального, антикрепостнического лагеря, которое было собрано накануне революции под именем третьего сословия.

Сравнивая классические буржуазно-демократические революции (Английскую 1648 года и Французскую 1789 года) с ублюдочной Немецкой революцией 1848 года Маркс так гениально характеризует ранний демократизм буржуазии, его классовую природу, взаимоотношение с народом: «В обоих революциях (1648 и 1789 гг. — В. В.) буржуазия была тем классом, который действительно стоял во главе движения. Пролетариат и не принадлежавшие к буржуазии слои городского населения либо не имели никаких отдельных от буржуазии интересов, либо еще не составили самостоятельного развитого класса, или части класса. Поэтому там, где они выступали против буржуазии, например в 1793 и в 1794 году во Франции, они боролись только за осуществление интересов буржуазии, хотя и не на буржуазный манер. Весь французский терроризм представлял не что иное, как плебейскую манеру расправы с врагами буржуазии, абсолютизмом, феодализмом и филистерством.

Революции 1648 и 1789 гг. не были Английскою и Французскою, это были революции европейского масштаба. Они представляли не победу одного определенного класса общества над старым политическим строем, они провозглашали политический строй нового европейского общества. Буржуазия победила в них, но победа буржуазии означала тогда победу нового общественного строя, победу буржуазной собственности над феодальной, нации над провинциализмом, конкуренции над

цеховым строем, разделения собственности над майоратом, господства собственника земли над подчинением собственника земле, просвещения над суеверием, семьи над фамильным именем, промышленности над героической ленью, буржуазного права над средневековыми привилегиями».

Таково раннее буржуазно-демократическое революционное сознание. «1789 год, — пишет Маркс, — представляет победу восемнадцатого века над семнадцатым». Восемнадцатый век открылся торжественным разливом просветительного движения. Руссо, Вольтер, Дидро, «Энциклопедия», французские материалисты, Марат, французские монтаньяры, — вот какие стадии пережило демократическое сознание до того классического расцвета, который так изумительно обобщил Маркс.

С чего оно началось? Какие идеи легли в основу складывавшейся демократической революции? Что является исходными идеями революционного буржуазного демократизма?

Думаю, без труда можно различить в раннем буржуазном просветительстве восемнадцатого века три коренных идеи с разной силой пробивавшие себе путь сквозь философию, литературу, науку, публицистику.

Идея личности — вопрос об эмансипации личности из-под бремени бесчисленных ограничений, накладываемых феодальным обществом, вопрос о судьбах непривилегированных, о народе, который сразу стал центральном вопросом движения, поскольку борьба за освобождение трудящегося большинства, за равенство прав, ставила вопрос не об одной «какой-либо привилегии господствующих, а о всем социальном строе, созданном на привилегиях сословий и корпораций, и, наконец, национальная идея, которая по гениальному замечанию Маркса знаменовала протест против провинциализма и уездного партикуляризма (если перекладывать на русские мерки).

Попытайтесь вдуматься в творчество Вольтера, Руссо, даже Дидро и энциклопедистов, как они ни различны по своим устремлениям, как ни богаты и разносторонние дарования и круг их интересов, как ни резки их фракционные разногласия, — в основе их мировоззрения лежат эти три идеи, по-разному выраженные, не одинаково акцентированные, но решенные в одном направлении с разной степенью последовательности.

Наиболее последовательно демократическое сознание со всеми своими сильными и слабыми сторонами нашло себе выражение в творчестве Ж. Ж. Руссо.

«Этот сын народа, — пишет Плеханов, — страстно любил равенство, он искренно возмущался угнетением бедных

богатыми. По своим симпатиям он был демократом до конца ногтей». Его «Общественный договор» есть договор равных. Все здание общества строится на товарищеском договоре равных. Политическая власть не есть принадлежность людей благородного происхождения, а является достоянием каждого члена общества, участвующего в исполнении государственных обязанностей. Вызревавшие лозунги равенства и братства уже тогда наносили сокрушительный удар феодализму. Слово citoyen (гражданин) стало символом равенства и братства после Руссо.

«Простой народ составляет человеческий род: что не принадлежит к народу, так ничтожно, что едва ли стоит того, чтобы о нем заботиться. Человек один и тот же во всех ступенях, а потому те ступени, к которым принадлежит большее число людей, заслуживают большего внимания. Перед тем, кто размышляет, все гражданские отличия исчезают»… «Уважайте ваш разряд людей, не забывайте, что он состоит главным образом из соединения народов и что если из него выключить всех королей и всех философов, никто не почувствует недостатка в них, и все пойдет не хуже прежнего».

Руссо боролся за равенство народа против угнетателей и против феодальных привилегий и не как благодетель со стороны, а как истинный сын народа.

Брюнетьер прав, утверждая, что из всех писателей XVIII века (среди которых многие вышли из народа) «Руссо первый, сделавшись писателем, остался человеком народа и основал свою популярность на открытом, дерзком презрении ко всему, чем он не был».

Взрывая феодальное общество, Руссо вполне сознательно исходил из демократической защиты интересов народа. Учение о народном суверенитете было лишь политическим и юридическим завершением его точки зрения.

Непрестанно и настойчиво вел он борьбу против унижения человеческого достоинства, за воспитание нового, свободного, независимого поколения. Его теория воспитания — это подлинный путь формирования нового человека. Проблема эмансипации человека особо сильно волновала французских материалистов. Борьба против религии была одной из замечательнейших страниц истории освобождения человека, борьба Вольтера с церковью в основном также преследовала эту цель.

Наконец, Руссо на всем протяжении своей деятельности не переставал бороться за национальную идею, за идею целого над разрозненными тираниями феодалов, за патриотизм.

Часто говоря о патриотизме Руссо, думают о мизерной

Женеве, называя его «патриотом Женевы», полагают свести вопрос к своеобразному провинциализму: что же за отечество Женева? Говорящие так жестоко ошибаются. Руссо не просто был ограниченным провинциалом, влюбленным в свой родной Царево-Кокшайск, расположенный на живописных берегах швейцарского озера. Нет, Руссо был апостолом нового сознания. Только проповедь Руссо, особенно его «Общественный договор», который так исчерпывающе обосновал идею родины, как политического целого, равенство всех составляющих нацию — только проповедь Руссо непримиримо противопоставила нацию иерархической пирамиде феодальных сатрапий. «Свободная республика с ее цельной общей волей и суровым патриотизмом» — таков идеал Руссо.

Великий диалектик и в этом вопросе обнаружил глубочайшее понимание природы возникшего социального явления, он превосходно видел и понимал, какие ядовитые возможности вложены в «патриотическое сознание». Он писал: «Всякий патриот суров по отношению к иностранцам: они — ничто в его глазах, они — только люди (а часто даже и не люди — В. В.). Этот недостаток неизбежен, но он и не так значителен. Гораздо важнее быть добрым с теми, с кем находишься в беспрерывных сношениях», то есть с так называемым народом, под которым в эпоху Руссо подразумевали третье сословие.

Гениальный демократ был прав только в известных строго ограниченных хронологических пределах. Неизбежный недостаток был малым злом только в эпоху, когда буржуазия шла к своей революции. В добродушии Руссо обнаруживает себя ранним демократом, не видевшим еще, во что может обернуться и какие каннибальские формы примет национальный антагонизм на первом же повороте истории по завершении задач буржуазии. Но для своего времени, повторяю, Руссо был безусловно прав, очередной задачей было создание национального демократического целого, поглощение частей, ломка перегородок, чистка авгиевых конюшен феодальных привилегий и прерогатив: перед этими доминирующими задачами возможный национальный антагонизм отступал на второй план.

Таково раннее демократическое сознание. Его основные прогрессивные идеи с большим или меньшим приближением укладываются в эту триединую формулу. Я говорю с большим или меньшим приближением, ибо даже такой величайший демократ и гениальный диалектик, как Руссо, не смог выйти за пределы ограниченного сознания своей эпохи, обусловленного ограниченностью социально-экономической дифференциации.

Его борьбу с материализмом и атеизмом нельзя расценивать

иначе, как сдачу позиций поработителям в важнейшем пункте — в вопросе об эмансипации личности из-под бремени предрассудков. В этом отношении наиболее последовательно борьбу вели французские материалисты, те самые «гольбахианцы», против которых так яростно ополчался Руссо. Другим ограничением было недостаточно отчетливое решение женского вопроса. Конечно, было бы смешно винить Руссо, как и других демократов предреволюционной эпохи, в обскурантизме. Они превосходно понимали значение умственного развития женщин. Ограничение их идеалов было обусловлено временем. Но непоследовательность их демократизма в этом вопросе является очевидной.

Не менее крупные недочеты обнаружил ранний демократизм в понимании народного блага, в толковании идеи равенства. Совершенно естественно, что ранние демократы, как они ни были гениальны, не могли видеть и не могли понять классовую природу своих идей. Поняв и идеологически оформив потребности социально-экономического развития, они не были в состоянии понять, куда ведет экономическое развитие нацию и патриотов. Они видели как подготовляется новое неравенство, неравенство на новой почве, и не знали где искать спасения от него. Пытались спастись в земледелии и «сделать деньги презираемым и по возможности бесполезным предметом», заклинали против «финансовой и денежной системы хозяйства» и последнюю задачу истории видели в объединении всех непривилегированных в борьбе против феодально-сословных привилегий.

Непоследовательность, разумеется, порок, порочна и непоследовательность раннего демократизма. Но из такой тривиальной мудрости никогда еще не получалась наука. Такие утверждения не приближают к пониманию вопроса. Чтобы оценить значение этого явления исторически необходимо рассматривать его в общем контексте социальных и экономических отношений той эпохи, эпохи ломки старого феодализма и сколачивания в этих обломках основ нового общественного строя. А в этой обстановке ранне-демократическое сознание, даже со всеми его непоследовательностями, было революционное явление. Оно было ново и сигнализировало появление нового общества…

Чрезвычайно, интересна судьба раннего демократизма в странах, где капитализм пришел позже, где процесс его внедрения шел иным темпом, где огромное количество побочных влияний и специфических сцеплений обстоятельств создали иную обстановку, чем в Англии и Франции.

Особый интерес представляет Россия как одна из таких стран.

Тут ранний демократизм принял еще более расплывчатую, противоречивую и непоследовательную форму.

Если сравнить с дореволюционными французскими демократами декабристов (наиболее определенных из них, возглавляемых Пестелем) и околодекабристскую литературу (Рылеев, Пушкин, Грибоедов), не трудно будет заметить, что социально-прогрессивную и революционную роль они сыграли при менее завершенных идейно-идеологических положениях, что антидемократических привесков у них было значительно больше, что их непоследовательность сыграла роковую роль в деле идейной подготовки решительной схватки.

Литература раннего русского демократизма полна трагических противоречий, которые служат для нас превосходным показателем того, что социальная дифференциация старины не прошла столь глубоко, сколь необходимо, для решительного оформления идей.

Но такое невыгодное соотношение нас нисколько не смущает, оно не вводит нас в заблуждение на счет социально-прогрессивного характера этого раннего демократизма, как нисколько оно не вызывает в нас колебаний при установлении генезиса и источников классовой природы и социальной роли этого демократизма.

Чем ниже та степень социальной дифференциации, на которой возникает потребность демократической программы, тем больше в ней посторонних примесей недодуманного, незавершенного и противоречивого. Вот что нужно учесть, понять и социологически объяснить. Но непростительно было бы дать себя обмануть внешними наслоениями, примесью старого, противоречиями, неверно было бы за этими пороками проглядеть самую суть раннего демократизма, его цели и программу.

Читатель вероятно уже заметил, приближаясь к концу главы, что я не подчеркнул с должной настойчивостью одну чрезвычайно важную особенность раннего демократизма, а именно его политическую революционность. Идея народного суверенитета Руссо, республиканизм Пестеля — это не менее обязательная составная часть демократического мировоззрения. Но эти политические идеалы были взращены на том идейно-идеологическом фундаменте, о котором я выше говорил. Они разделены по времени, и чем значительнее отсталость народа, тем это время длительнее, тем дольше продолжается идейная подготовка, тем больше нужно времени на подготовку условий возникновения демократической политической программы. Но рано или поздно основные идеи демократизма неминуемо

должны породить программу политической революции. Однако история знает много примеров, когда посылки и выводы разделены поколениями, когда политические выводы из идеологических посылок раннего демократизма делал самый революционный класс нашей эпохи — рабочий класс. История знает немало случаев, когда опоздавшей буржуазии хватало лишь на первый идеологический манифест, когда на следующем же этапе знамя прогресса переходило в руки более последовательного борца за демократизм — пролетариата.

Демократическое сознание есть буржуазное сознание, — сказал я выше. Оно претерпело огромную эволюцию вместе с буржуазией как в целом, так и каждая из составных идей в отдельности.

Демократия возникла из потребности противопоставить все угнетенные классы населения — аристократии и абсолютизму. Демократия поэтому знает только один объект — народ, без наличия в нем классовых противоречий. Пока феодализм не свергнут и на исторической сцене нет консолидировавшегося рабочего класса — такое понятие народа несомненно прогрессивное. Но как только эта задача разрешена и впервые самостоятельно выступает пролетариат со своими классовыми счетами, единый «народ» разбивается на классы. И чистая демократия становится опаснейшим видом обмана народа. Демократические иллюзии обращаются в руках буржуазии в важнейшее средство обмана пролетарских и бедняцких масс, в орудие подчинения их своему влиянию. Пролетариат с момента формирования его мировоззрения, является противником так называемой чистой демократии. Если историческая миссия демократии — затушевать противоречия между рабочим классом и буржуазией, — борьбу классов, то историческая задача пролетарской демократии, коммунизма — обнажить эти противоречия, организовать и руководить борьбой пролетариата, завоевать государственную власть, установить диктатуру пролетариата и через диктатуру прийти к уничтожению классов. Сообразно с таким решением вопроса об отношении к демократии — мы высоко чтим ранних демократов, последовательных просветителей, и с величайшей энергией безжалостно разоблачаем сегодня демократических агентов буржуазии.

«Предтропье»

Выше мы уже убедились из реферата академика Броссе, что в январе 1840 года Абовян представил на конкурс свою «Книгу для чтения», которую он позже назвал «Предтропьем». Не только ее практическая часть (хрестоматия), но и ее теоретическая часть — вступительные методические указания для учителей, была готова в 1839 году. Следовательно, нисколько не рискуя нарушить истину, мы можем утверждать, что над своим «Предтропьем» он начал работать сейчас же по возвращении из Дерпта.

Перечисленные выше злоключения были не последние из тех, каким подверглось «Предтропье». После неудачи с изданием книги на казенный счет, Абовян пытался выпустить книгу на свой счет. Он даже отпечатал ее в типографии. Но меднолобый вождь тифлисских попов был взбешен тем, что учебник составлен на народном языке, собрал все экземпляры и сжег. Сохранился только один или два экземпляра, которые хранятся теперь в Эриванской государственной библиотеке (или литературном музее?). Я, к великому своему сожалению, с «Предтропьем» не знаком. Судить о достоинствах хрестоматии не берусь. Но педагогическое предисловие было опубликовано в «Оризоне». Прочитав его, нетрудно понять, откуда взялся саботаж этих работ Абовяна со стороны национал-демократической интеллигенции.

Когда банкир Джамгаров принялся за издание сочинений Абовяна, он не только постарался подбором редакции обеспечить умеренно-националистическую интерпретацию Абовяна, но и старательно устранял, из своего издания такие великолепные памятники демократически-педагогической мысли, как предисловие к «Предтропью», педагогические и методологические рассуждения которого стоят на уровне самой передовой теории своей эпохи

Одного этого предисловия достаточно, чтобы Абовян занял в истории общественной мысли Армении почетное место великого демократа. Самая исходная точка зрения Абовяна — цель педагогики облегчить участь школьника — была революционной для варварских поповских застенков, которые назывались тогда школами.

А принципы трудового воспитания и наглядного обучения — так страстно отстаиваемые Абовяном, перекликаются с нашим сегодняшним политехнизмом.

Такая близость и родственность обусловлены европейскими истоками педагогики Абовяна: ученик Руссо, несомненно, он был знаком и с Песталоцци, я не исключаю возможности его

знакомства с Оуэном, книга которого об образовании человеческого характера тогда пользовалась огромной популярностью в Европе. Во всяком случае следы влияния утопических социалистов явственно видны в теоретических высказываниях Абовяна. Мудрено ли после всего этого, что он так близко подошел к нашему времени и педагогике.

Для того, чтобы ослабить впечатления от предисловия Абовяна, обычно ссылаются на подбор учебного материала, который включает «Предтропье». Но, странное дело, обвинители вовсе упускают из виду, что учебник составлялся с расчетом стать руководством в казенных школах и обязательно должен был отвечать программе Министерства народного просвещения.

Во всех учебниках того времени материал распадался на целый ряд тем, среди которых Министерство просвещения особо ревниво относилось к духовным и дидактическим стихотворениям, ко всяким заздравным декламациям в честь отечественных героев и царей. Для Абовяна многие из этих материалов были обязательны. Было бы интересно, если бы исследователи проследили, в какой мере ему удалось обезвредить этот балласт реакции. Учебник обычно составлялся из материала уже устоявшегося, выдержавшего критику времени и освежающей учебно-дидактической и методологической части, которую автор излагал, исходя из своих педагогических взглядов. Для Абовяна задача была тем труднее, что не было ни одной строчки на новом языке и ему приходилось создавать все самому. Это была задача неблагодарная и трудно осуществимая.

В «Предтропье» подлинный Абовян — его предисловие. Оно является настоящей педагогической платформой, — оно рисует его чистокровным демократом и великолепным, европейского уровня, педагогом. Вот почему банкир Джамгаров и его литературные поденщики устранили этот яркий документ из собрания сочинений Абовяна.

Но может быть эта платформа была только декларацией? Нет. Мы имеем не одно свидетельство в мемуарах о том, как Абовян строил педагогический процесс у себя в школе. Его предисловие является теоретической декларацией, предварившей его многолетнюю педагогическую практику. Если бы у нас не было других свидетельств кроме великолепного рассказа Перча Прошьяна о посещении Абовяном школы Аштарака, то и тогда мы имели бы полное основание утверждать, что на практике Абовян придерживался новой педагогики.

«Раны Армении»

Мы уже видели, какая судьба постигла «Книгу для чтения». Абовян не пал духом. Он продолжал искать новью формы осуществления своей мечты. Долго он наблюдал и размышлял, долго искал путей.

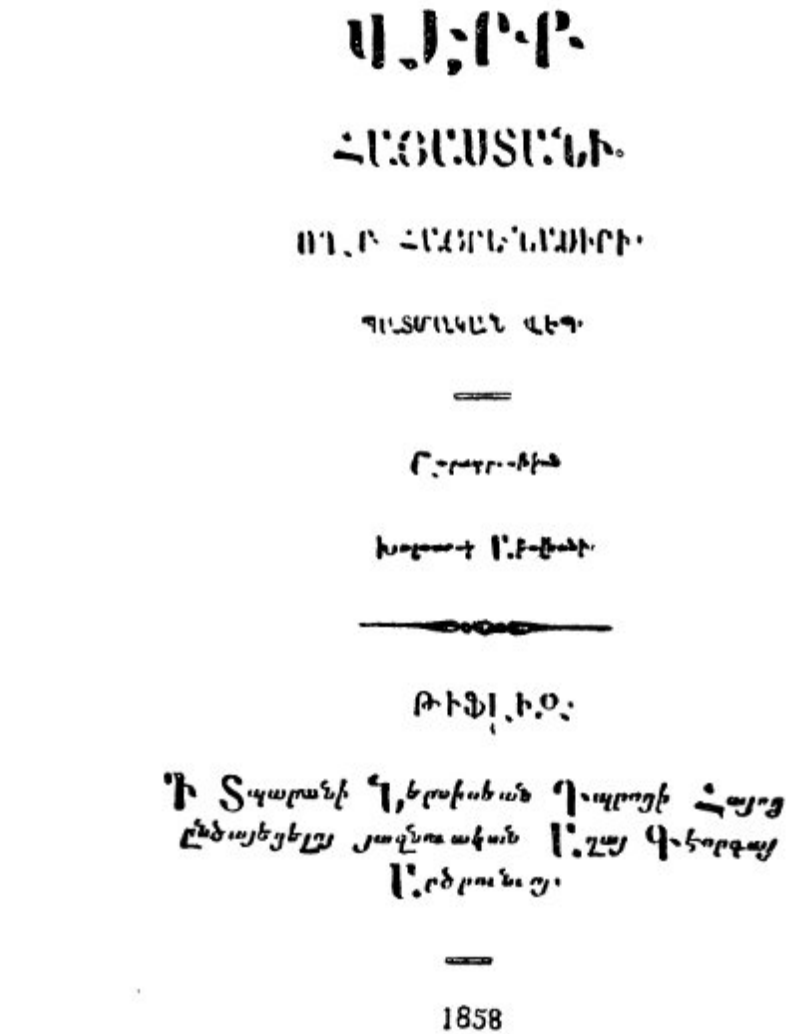
«Думал, думал и однажды сказал я сам себе: дай-ка сложу и отложу в сторону все свои знания: грамматику, риторику, логику, стану одним из ашугов, что бы там ни случилось. Ничего моего не убавится, ведь и я как-нибудь умру и некому будет благословить память мою.

В одну из масленицы, когда распустил учеников, начал я рыться во всем том, что слышал и видел с детства. Наконец вспомнил моего удалого Агаси; с ним вместе сто юношей армянских подняли головы и хотели, чтобы и их я не забыл. Были и другие — богатые и знатные, из них некоторые и поныне живы. Агаси был беден и умер, да будет благословенна его светлая могила. Подумал — не буду лицеприятен — и избрал его. Сердце было переполнено. Видел, что мало кто говорит на армянском языке, читает армянские книги. А единственное, что сберегает нацию — язык и вера, горе если мы их потеряем.

Армянский язык убегал от меня подобно Крезу, но три десятилетия молчавшие уста раскрыл Агаси. Не успел написать страницу, как вошел друг моего детства доктор Агафон Смбатян. Хотел я спрятать лист — не удалось. Он мне был послан богом. Принудил читать — что было скрывать от друга? Сердце дрожало при чтении. Думал — вот-вот повертит головою, сведет брови подобно другим, и хоть в душе, а засмеется над моей глупостью. Но я был дурным, что не знал благородства его души. Окончил чтение. Острая сабля нависла над головой, Но как только он сказал: если так продолжать, получится прелестная вещь, — хотел броситься к нему и поцеловать уста, произнесшие такие речи. Его святой дружбе обязан я, что немой язык мой развязался. Как только он ушел — меня охватил жар. Было десять часов вечера. В голову не приходила мысль; едва муха пролетит — порывался убить, до того был возбужден. Армения, подобно ангелу, стояла предо мной и окрыляла меня. Родители, отчий дом, в детстве виденное и слышанное воскресли, и ничто кроме не приходило на ум. Какие ни были у меня глухие, затерявшиеся мысли, — все проявились.

Только тогда увидел, что грабар и иностранные языки закупорили мне мысль. Все, что до этого говорил или писал — было краденое или чужое, поэтому бывало напишешь страницу и

сон одолевает, либо рука устает. До пяти часов утра не глядел ни на еду, ни на чай, моею едою была трубка, творчество — насущный хлеб. Не обращал более взимания на уговоры, недовольство и обиды домашних. Тридцать листов исписал, когда природа взяла свое и глаза мои сомкнулись. Всю ночь казалось — сижу и пишу. Как был бы я счастлив, если бы эти мысли зародились в голове днем».



1858

Титульный лист первого издания «Ран Армении»

Таково было состояние Абовяна, когда он приступил к писанию «Ран Армении» зимой 1841 года. Достаточно прочесть первую главу романа, чтобы поверить Абовяну. Приведенный выше рассказ — не стилизация, а воспроизведение того состояния подлинного творческого экстаза, в «котором написан этот эпопейный исторический роман.

Свое произведение Абовян назвал «Раны Армении— скорбь патриота — исторический роман». Но мы сегодня вряд ли согласились бы безоговорочно признавать эту вдохновенную программу демократов сороковых годов за исторический роман. В нем историческим было лишь происшествие, которое Абовян без малейшего колебания вправил в общий социально-бытовой и идейный контекст своего времени.

«Раны Армении» строго говоря и не роман, это великолепная поэма, в которой циклопические глыбы натуры изящно оправлены романтической скорбью, лирическое томление — героическим действием, гневное обличение — патетическими молитвами во славу национальной идеи.

Вот почему произведение Абовяна сегодня кажется чересчур тяжелым.

Роман обрамлен поэмой.

Роман открывается величественным описанием масленицы, точным, неторопливым, многоэпитетным пейзажно-бытовым повествованием. Масленица. В этот день традиционное состязание молодежи в удальстве. Агаси с величайшим нетерпением, с нескрываемым вольнодумством ждет окончания затянувшейся церковной службы, критикует обрядовые нелепости церковных служб. «Ну вот, не литургия, а целая ослиная свадьба» — начинает он свой ядовитый анти-церковный монолог.

«Мужицкий сын» Агаси был добрый товарищ, примерный сын, защитник слабых, помощник бедных и обездоленных, «Его стройный стан, его жгучие глаза, его писаные брови, его бесподобной красоты образ, его приятные речи, ласковый голос, широкие плечи, высокий лоб и златокудрый чуб вызывали изумление». Агаси — силен, ловок, прост с равными, умеет держать себя с достоинством перед привилегированными.

Абовян знакомит нас со своим героем на фоне циклопического общенародного празднования масленицы, в контексте подробного, любовно и нарочито-гиперболического описания природы, дружественно-иронического описания обычаев, нравов и привычек, уснащая свой рассказ густым потоком фольклорных заимствований.

Праздник в полном разгаре. Агаси показывает чудеса джигитовки. Безмятежное и буйное веселье поглотило все внимание молодежи.

Вдруг отряд персидского сардара (губернатора Эривани) нападает на село, хватает молодую красивую Тагуи. Плач и стоны матери. Униженная беспомощность крестьян. Обморок девушки. Похитители уже готовы взвалить на коня и увести полумертвую девушку.

Издали Агаси видит все, стремглав настигает он похитителей, убивает некоторых из них и гонит оставшихся вон. Ужас охватывает село. Молодые друзья Агаси насильно спасают его в горах Амбарана и Лори. Сардар сажает в подземелье стариков и родственников скрывшихся. Наступление русских вызывает волну погромов. Начатые в Эривани погромы быстро распространились по всей стране. Описание их, поведение и рассуждения представителей высшего духовенства накануне погромов, — самые мрачные страницы романа.

Тем временем Агаси пробирается со своими товарищами — к русским и вливается в ряды партизан.

Геройски сражаясь в авангарде русских войск, Агаси вступает в Эривань и спешит в крепость освободить отца. Из засады персы убивают героя в объятиях старика. Надгробным словом и смертью отца кончается роман.

Таково в самых общих чертах содержание романа. К этой главной сюжетной линии нужно прибавить перебивающий исторические и публицистические отступления и глубоко лирический мотив любви Агаси к своей невесте Назлу, оставшейся в селе, развиваемый Абовяном преимущественно средствами традиционных армянских песен. Среди любовных баяти, в которых и Назлу и Агаси изливают тоску друг по друге, много страсти и подлинного вдохновения, письма, которыми они обмениваются — изумительные памятники народного эпистолярного искусства.

Роман свой Абовян написал на наречии, распространенном по Араратской долине. Избрал он его сознательно основой будущего языка новой литературы, справедливо считая, что наибольшее число армян говорят на нем, что и по фонетическим особенностям и по богатству корней, по легкости словообразования это наречие наиболее пригодно стать основой общенационального языка. До Абовяна были попытки писать на разговорном языке: все армянские песни Саята Новы писаны на наречии тифлисских армян. Но как ни распространены были песни Саята Новы — язык его не стал языком литературы. В этом был повинен (если можно в данном случае говорить о вине) и поэт, не смогший поднять на должную высоту всю сумму демократических вопросов, и избранное им наречие, давно потерявшее все преимущества армянского языка и не приобретшее никаких достоинств грузинского и персидского. Мелкая буржуазия страны не могла мириться со столь отчужденным наречием мещан и купеческой буржуазии Тифлиса и не помирилась. И теперь язык песен Саята Новы воспринимается как экзотика, — не ему было преодолеть грабар.

Иное — араратское наречие. Уже следующее за Абовяном поколение превосходно справилось с задачей очистки языка от провинциализмов, звукоподражательных слов, варваризмов и неблагозвучных ляпсусов, которыми так богато всякое наречие. Если для этого Назаряну приходилось прибегать к компромиссу с грабаром, то Налбандян уже не чувствовал необходимости в заимствованиях, он уже овладел внутренней пружиной образования языка. Неслыханно богатый, с истинно-азиатской пышностью использованный Абовяном в «Ранах Армении» язык араратских крестьян естественно, без давления, без шума, без большого сопротивления стал исходным источником нового армянского языка.

«Раны Армении». Этапы буржуазного сознания

Если правильна данная выше характеристика раннего демократического сознания, — а она несомненно правильна, — тогда в лице Абовяна мы имеем одного из самых примечательных ранних демократов.

Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно перечитать его произведения и самое значительное из них «Раны Армении», которое до сих пор еще не может дождаться беспристрастной критики.

«Национал-демократический роман, — твердят одни, — евангелие воинственного национализма, от начала до конца построенное на проповеди человеконенавистничества, поэтому мы его отвергаем».

«Это — первое изображение армянского зулума, основоположение армянского национализма, Агаси — первый армянский гайдук, родоначальник бесчисленных героев национального освобождения, фабрикацией которых позже занимались все романисты от Раффи до Агароняна. Абовян за три четверти столетия оправдал добровольческое движение и всю тактику дашнаков во время империалистической войны, поэтому мы его принимаем» — таково мнение других выступающих решительными противниками первых.

Однако, читателю нетрудно заметить, что тут нет двух точек зрения, что и приемлющие, и отвергающие Абовяна, исходят из одной и той же оценки романа. Представители обеих точек зрения считают «Раны Армении» наиболее ярким памятником национал-каннибализма, отражением идеологии агрессивной армянской буржуазии, недвусмысленно обнаружившей свое сочувствие прямой экспансии русского империализма на юге. Обе точки зрения исходят из той посылки, что армянская буржуазия, даже ранее, чем она сложилась, руководила и направляла общественную мысль в рабство к феодализму, что она начала борьбу за владычество русского самодержавия еще до того как появилась на свет как вполне определившийся класс.

Я думаю, что такая схема могла выкристаллизоваться лишь при абсолютном пренебрежении к фактам действительной истории.

Эта ошибка обусловлена совершенно необъяснимым стремлением некоторых историков расширить понятие «армянская буржуазия» до включения в него всех капиталистов-

армян, где бы они ни находились, кого бы они ни эксплуатировали. Став на эту позицию, исследователь не может отказаться от соблазнительного искушения все процессы страны рассматривать под углом зрения интересов колониальной буржуазии, а все идейные явления пригонять к эволюции колониальных общин.

Эти ошибки искажают все перспективы.

Колониальная буржуазия, даже чувствующая себя принадлежащей к армянской нации, не была еще армянской буржуазией, а была частью российского купечества, английской буржуазии, турецких и персидских ростовщиков, и т. д., т. д. Она стала фактором национальным только после того, как у нее появились свои интересы внутри страны, и когда в самой стране появилась буржуазия, в союзе с которой и в меру союза с которой колониальная буржуазия могла быть с известной натяжкой названа армянской буржуазией.

Роль колониальной буржуазии огромна, конечно, но эта роль ограничивается на первых порах тем, что она выделяла из своих рядов и вытягивала из разных сословий как самой страны, так и разбросанных повсюду общин, некоторое количество людей, и подготовляла из них слой разночинной интеллигенции. К середине XIX века интеллигенция эта заняла в стране и на периферии ее все решающие культурные позиции. А колониальная буржуазия в немалой степени направляла идейные интересы этой интеллигенции.

Однако для основной массы мещанской интеллигенции определителем идеалов была почвенная буржуазия. Программу свою эта интеллигенция конструировала из потребностей буржуазного развития страны, а так как последнее было невероятно убого, то и идейная программа интеллигенции носила печать нищеты и убожества. Колониальная буржуазия жила одной социально-экономической жизнью с буржуазией великодержавной, ее интересы и воззрения находили себе выражение в рядах имперского буржуазного либерализма. Достаточно сравнить идеологов и представителей интересов колониальной буржуазии с идеологами местной армянской буржуазии.

Процесс формирования буржуазного сознания — диалектический процесс, он протекал с огромными внутренними противоречиями. В хаосе, из которого рождаются классы капиталистического общества, мы с большим трудом можем установить те зигзаги, которые намечают в самых общих чертах контуры грядущей классовой дифференциации.

Основные линии раздела, глубочайшие межи лежат между

старым и новым обществом в целом. Понятия, выработанные, кристаллизовавшиеся в процессе поздней эволюции, последовавшего развития, могут быть применены к ранней поре весьма и весьма условно. Такой вывод неизбежно вытекает из признания эволюции демократического буржуазного сознания.

Нельзя утверждать, будто старые французские просветители или идеологи Великой французской революции были националисты в том смысле, как мы понимаем это выражение, хотя на самом деле они были пламенные патриоты и имели высоко развитое национальное сознание. Нельзя этого делать даже несмотря на то, что их патриотизм имел нередко очень ядовитые проявления.

Было бы нелепо сегодня объявить Пестеля идейным дедушкой Пуришкевича только на том основании, что он высказывал по еврейскому вопросу чудовищные вещи. Подобный вывод бессмыслен именно потому, что Пестель вовсе не углублялся в решение еврейского вопроса и его мнение по этому частному вопросу было неуравновешенностью мелкобуржуазного патриотизма. Вспомните, как Руссо гениально сказал: «Всякий патриот суров по отношению к иностранцам, они ничто в его глазах» — национальная идея в самые революционные периоды своей молодости носила в себе семена ксенофобии и каннибализма. Но она — национальная идея — играла известную, строго ограниченную положительную роль, когда, в общем контексте прочих демократических идей выступала поборником точки зрения народа против феодальных привилегий, точки зрения целого против дробного.

Национальное сознание стало националистическим сознанием не тогда, когда оно стало суровым и несправедливым к иностранцам — оно всегда было таким, — а тогда, когда оно откололось от прочих демократических идей и стало знаменем антидемократических новых властителей, иначе говоря тогда, когда экономическое развитие, классовая дифференциация привели к тому, что в недрах третьего сословия появилось пролетарское движение, взявшее на себя осуществление демократических задач совместными силами — рабочих всех национальностей.

Не следует меня понимать в том смысле, будто я схематизирую исторический путь одной из классических буржуазных стран и механически переношу общую схему на все народы, в какое бы время они ни вступили в период буржуазной революции. Нет! Когда в основных западных странах этот процесс закончился и период освободительных национальных войн завершился, всякая следовавшая нация оказывалась сразу перед

фактом — быстрого превращения национального сознания в националистический обскурантизм.

Но до революции 1848 года все процессы шли чрезвычайно усложнение и дифференциация тянулась мучительно долго.

Так было в России, когда после декабристов десятилетия передовая русская общественная мысль мучительно — медленно искала путей дифференциации, принимала чудовищные формы идеалистической абстракции, буйные формы взрыва гегельянской диалектики, метафизические формы утопического социализма, чтобы на самом пороге 1848 года нащупать форму фейербахианского материализма, а тем самым приблизиться с наивозможной смелостью к пролетарскому демократизму.

Великорусская национальная идея при этом все далее отходит вправо, пока не кристаллизуется в мистически-юродивую философию Хомякова, историческая миссия которой состояла в том, что она взрыхляла почву для Каткова.

В армянской действительности этот процесс повторился, но протекая в уродливой форме, на примитивной стадии, ни разу не поднимаясь до уровня подлинно передовой теории, больших и сложных вопросов классовой борьбы. Десятилетие продолжалось это мучительное развертывание демократической идеи от Абовяна до Налбандяна. В этом, разумеется, лично никто не повинен и менее всего Абовян. Так мизерна была тогдашняя социальная действительность. Она снижала все вопросы до уровня элементарной, почти первобытной проблемы существования: и в экономике, и в политике, и в идеологии.

«Раны Армении» отражают это долгое время боровшееся за свое внедрение первобытное, первоначальное, упрощеннейшее демократическое сознание.

«Раны Армении». Идейный состав романа

Анализ идейного состава «Ран Армении» ясно покажет нам, что сердцевину романа составляют не национал-каннибалистические персофобские страницы, не идеи национальной исключительности, не национал-мессианизм. Элементы всего этого в романе имеются, но вовсе не они составляют лицо романа.

В сердце романа горит ярким пламенем другая идея — идея необходимости просвещением завоевать для Армении место в ряду культурных наций.

Это та самая просветительская идея, которая воодушевляла ранних демократов всех наций и за которую мы не имеем никакого основания упрекать Абовяна.

Я приведу из его предисловия к роману цитату, в которой автор рассказывает о своем желании помочь народу, о том, что он не знал, как это сделать, ибо не было книг, а имеющиеся «наши книги все на грабаре», а «наш новый язык не в чести». Все писали темным, непонятным языком невнятные вещи, никто не думал о народе, сам Абовян из желания щеголять знаниями писал на этом же мертвом языке стихи и прозу. Писал и мучился сознанием, что некому будет читать и понимать его. Принялся обучать детей — встала та же проблема языка.

«Сердце разрывалось, — рассказывает он, — какую армянскую книгу ни вручал им, не понимали. На русском, немецком и французском языках все, что ни читали, нравилось им, приходилось им по их невинной душе. Иногда хотел рвать на себе волосы, когда видел, что они чужие языки любят больше нашего. Но это было совершенно естественно: в тех книгах они читали вещи, которые могли людей увлечь, ибо увлекательные вещи, кому не будут любы? Кто не захочет знать, что такое любовь, дружба, патриотизм, родители, дети, смерть, борьба? Но если что-либо такое на нашем языке найдете — выколите мне глаза. Чем же можно внушить детям любовь к языку? Продай мужику изумруд, вещь очень хорошая, но если у него нет средств, он не обменяет кусочек пшеничного хлеба на этот драгоценный камень. Это не все. В Европе в иных книгах я читал рассуждения о том, что должно быть армянский народ не имеет чувств, если даже после того, как над его головой пронеслись такие события, не вырастил ни одного человека, который написал бы какое-нибудь произведение с чувством (сердечно) — все, что есть, о

боге, о церкви, о святых[11]. А ведь дети под подушками держали книги язычников: Гомера, Горация, Виргилия, Софокла — ибо все о мирском. Можно было бы утверждать, что эти европейцы безумцы, что, оставив дела божьи, гонятся за такими пустяками, но это было бы глупо… Я хорошо знал, что наш народ не был таким, как его изображали они, но что делать?… Думал все, размышлял — ведь решительных людей среди нас были тысячи и теперь они есть, умных слов наши старики знают тысячи, гостеприимство, любовь, дружба, доблесть, видных лиц — всего у нас есть вдоволь, задушевными думами полна мысль крестьян. Басни, поговорки, острые слова — всякий даже самый невежественный расскажет тысячами. Что же сделать, чтобы наше сердце узнали другие народы, чтобы нас тоже хвалили, полюбили наш язык?»

Абовян недоумевал и в этом недоумении скрыт ключ к разрешению вопроса.

«Думал я сесть и по мере сил воспевать наш народ, рассказать про геройства наших знаменитых людей, а с другой стороны думал: для кого писать, если народ не поймет моего языка? Что на грабаре, что на русском, немецком, французском языках — десяток едва наберется понимающих, но для сотен тысяч — что мои сочинения — что ветряная мельница. Ведь если народ на том языке не говорит, тот язык не понимает, изрекай золотые слова, кому они нужны?».

Так размышлял Абовян, критерием своих исканий принимая интересы сотен тысяч. Он любил свой народ, любил фанатически, самоотверженно, страстно, но любил именно свой народ, все свои действия приноравливая к интересам основной его массы. Найти пути к просвещению своего народа, поднять его до уровня, на котором стояли русские, немцы, французы, включить его в направление, которое приняла культура этих народов, — вот цель всей деятельности Абовяна.

Конечно, армяне — народ отсталый. Абовян это знал, но он думал, что виной тому — чужой гнет и сребролюбие, отчуждение от народа национальной интеллигенции. «Не вина народа, что он сбился с пути и друг друга забыли, — подобных нам ученых надо бы привязать за ноги к дереву и морить голодом по месяцам. Кому много дано, с того многое и спросится: что ответят в судный день подобные мне, разбирающие черное от белого, если ни о чем более не думают, кроме как хорошо есть и пить, сесть на ретивого коня и, позвякивая пестрыми рублями, прогуливаться, коротать время на кутежах. Питье кахетинского вина, торжественные, горделивые прогулки на дрожках и в карете, шелковые и парчовые наряды, прислуживание челяди, нега теплых одеял и

мягких перин, украшения драгоценными камнями — все это если нас не сведет в ад, то в рай отнюдь не приведет. Это и дети знают, скажешь, но что из этого? Дело не в знании, дело в осуществлении.

Я о себе говорю, пусть другие не обижаются. Пока я не беру денег, ни книг не даю, ни учеников не обучаю. Лезгины и тюркские муллы не так поступают, они без денег обучают детей своей нации и все же бог не оставляет их без пропитания. Неужели только нас он с голоду уморит? Во дворе каждой мечети, даже в селах и деревнях имеются большие школы, где обучаются одному-двум языкам, а во дворах наших церквей даже аист не свивает себе гнезда, как же народу не остыть?».

Национальная интеллигенция и варварская, некультурная, антикультурная церковь одинаково повинны в том, что народ оказался на таком жутком расстоянии от передовых народов — утверждает Абовян.

Навязчивая идея Абовяна — показать и доказать, что неправы те, кто недооценивает способности армянского народа, что достаточно дать ему знание, чтобы его ум заблестел вновь всеми цветами радуги, чтобы он занял почетное место среди культурных народов.

«Дороже жизни мне армянский народ, обучайте только его детей, просвещайте только его светлую душу, — я говорю о просвещении, а вовсе не о картежной игре, не о французской болтовне, заучивании наизусть и пустословии, вовсе не о пении шараканов и молитв, не об обучении правилам объядений, которые нас и довели до настоящего положения, — просвещайте и тогда увидите, не воспрянет ли он к жизни? Пока не придет весна, дерево не зацветет, пока не наступило лето, плоды не поспеют, ты хочешь в морозную зимнюю пору вдыхать аромат роз в своем цветнике, срывать спелые плоды в твоем саду, — бывало ли это, мыслимо ли это? Даже крепкие кости, подмятые под себя, замирают, теряют чувствительность, когда два дня подряд лежишь, образуются пролежни, ноги от хождения устают, а ведь тысячелетие эта ноша на нас, эти оковы на наших ногах. Что ж удивительного, что падаешь на голову, когда пробуешь бежать?

Разве можно кормить голодавшего неделями — мясом? Разве можно подставить огню замороженные части тела? Угорелую голову куда вынесешь: на снег или в огонь? Бедный народ до сих пор мучали, тысячелетняя рана в душе и не зажила. Так много горьких слез глотал народ, что не осталось жизни в глазах, вкуса во рту, а ты хочешь, чтобы все это в один миг изжилось, как это возможно? Это тем менее возможно, что почетные люди нации тысячи тратят на украшение церквей и избегают строить школы,

помогать друг другу». «Вода из русла сама собой не вытечет, нет. Найди дорогу, очисти канавку, камни и мусор отметай и тогда увидим, не пойдет ли вода сама собой».

Конечно, пойдет! Но пламенный просветитель был и великой наивности утопист. Ни один «именитый» не возьмет на себя эту заботу — открыть воде чистый и удобный путь к цели, наоборот, если продолжать образ, — он заинтересован в том, чтобы она шла по привычному пути, приводила в движение все его предприятия, везла все его тяжести, очищала всю его грязь и услаждала его взор. И это будет до тех пор, пока вода не прорвет плотину, не сметет весь мусор со своего пути, не откроет сама себе широкую перспективу свободного течения.

Абовян был метафизик и утопист, ранний демократ, который не дорос до этого революционного решения альтернативы, он превосходно видел, что без просвещения народ не может и не выйдет в один ряд с европейской культурой, а не замечал того, что проблема просвещения народа есть выражение проблемы народного освобождения из-под ига феодальной тюрьмы и капиталистического рабства.

Теперь это нам ясно.

Однако и то, что Абовян поставил проблему преодоления тьмы — проблему народного просвещения, такая великая заслуга, которая ставит его выше своей эпохи. Пока просвещение не станет достоянием сотен тысяч, пока каждый мужик — не будет в состоянии приобщаться к мирской науке и культуре, к просвещению, до тех пор бессмысленно упрекать армян в отсталости, в отсутствии чувств, талантов, способностей. Таково первое утверждение романа, такова полемическая истина, которую Абовян бросает со страниц своего романа всем врагам армянских трудовых масс.

Народ армянский упрекали не только в отсталости, но и в трусости. Абовян полемизирует с авторами этой клеветы страстно, болезненно, решительно.

Герой его романа не какой-нибудь именитый, прославленный, обвешанный орденами генерал, а безвестный «бедный сын народа Агаси». Абовян хочет, чтобы его читатель согласился с ним, что среди армянского народа тысячи таких героев, что это народ мужественных борцов, что сыновья этого народа свободолюбивы, что они поборники чести, защитники слабых и враги насильников. Они благородны и как все подлинно сильные — добры и чувствительны. Это вторая полемическая идея, прокламированная в романе. Мы вовсе не трусы, мы только угнетены, достаточно нам сбросить со своих плеч бремя угнетения, чтобы в каждом молодом армянском мужике

проснулся герой — уверяет Абовян.

И страстные тирады его романа не что иное как защита этого тезиса,

Конечно, тезис недостаточный. В нем не хватает самого главного — политического вывода. Если верно утверждение Абовяна, тогда каждый истинный сын народа должен прежде всего сделать целью своей жизни подготовку борьбы против всякого угнетения, за освобождение трудящихся из-под ига всякого самовластия, всякой кабалы. А значит и кабалы русского деспотизма.

Абовян этого вывода не делает. Более того, он предпочитает русский деспотизм — персидскому, выражая таким образом непосредственные социальные интересы крестьянской и городской мелкой буржуазии и купечества. Такое сокращение перспективы, такой ограниченный эмпиризм политических идеалов не должен скрыть от нас взрывчатую природу самого тезиса. В руках другого демократа, имевшего более широкий исторический горизонт, этот тезис облекся в плоть и кровь, превратился в отчетливое понимание того, что героизм трудящихся масс Армении, их культурность и сознательность измеряются не тем, сколько каждый из них уложил одним ударом врагов, а тем, насколько быстро он идейно и организационно соединяет свои усилия с усилиями всех передовых сил страны для свержения самодержавия и совместного свободного устроения своей судьбы. Этот человек был Налбандян. В этом смысле «Раны Армении» даже в самых скользких пунктах все же содержали глубоко демократические возможности.

Я не считаю нужным очень пространно доказывать демократическое значение языковой реформы, ибо это, по-видимому, даже для меднолобых национал-демократических публицистов очевидно. Хотел бы только указать и подчеркнуть особенно отрадную нам близость решения проблемы языка у Абовяна.

В 1843 году он писал путешественнику Гакстгаузену:

«Мне неизвестен ни один из новейших языков, который так различествует от древнего, коренного его языка, как ново-армянский от старо-армянского. Гораздо ближе польский к старо-славянскому, итальянский — к латинскому. Изучающие у нас старо-армянский язык должны бороться с большими трудностями, нежели европейцы при изучении своих классических языков. С десяти лет я занимался этим языком с большим усердием и ревностью, грамматику его и многие книги выучил я почти наизусть, много писал, — а между тем не в состоянии на нем бегло говорить. Ни один язык не был для меня так труден

(Абовян хорошо говорит на шести языках — Гакстгаузен), преимущественно потому, что все понятия, расстановка слов и даже отдельные слова не соответствуют, образу мыслей и толкованию новейших времен».

Зачем писать на этом древне-армянском языке, который народу непонятен, «десяток, не больше, поймут, а для сотен тысяч, что мои сочинения — что ветряная мельница».

Точка зрения, что литература должна рассчитывать на сотни тысяч, это — наша точка зрения, только нам удалось сделать культуру и литературу достоянием сотен тысяч.

Но чтобы сотни тысяч понимали, они должны прежде всего принимать живое участие в творчестве языка и литературы. Абовян стоял на той единственно правильной и приемлемой для нас точке зрения, что законодателем языка должен быть сам народ. Литература должна пользоваться языком масс, даже несмотря на то, что он бывает обычно с огромной примесью соседних языков. Надо переварить чужеродные примеси, отвечал он своим врагам, радетелям чистоты языка. Литературный язык освободится от чужеродных примесей по мере того, как литература на понятном родном языке проникнет в народную толщу.

В этом рассуждении утопист-просветитель причудливо передвинул вопрос, открыв какие-то щели для будущих аристократов языковой культуры. Только мы окончательно заделали и этот просвет, начисто решив проблему демократизации языка.

Конечно, распространение просвещения способствует освоению языком чужеродных элементов, но дальнейшее развитие новых производственных отношений все теснее связывает разные народы, все более взаимно скрещивает языки. Рынок, как хорошая мельница, перемалывает массу понятий и создает ворох интернациональных слов, развитие науки и техники рождает новые слова, одинаково звучащие на всех языках, человеческая история чревата революциями, в корне меняющими строй языков — следовательно, будущее вовсе не за «чистой» речью. Никогда народный разговорный язык не будет похож на так называемый язык идеологов. Как быть в таком случае? Какой критерий избрать для языка литературы?

Критерий Абовяна родственен нашим понятиям. Этот критерий гласит: литература должна разрабатывать темы, близкие трудовым массам, на языке понятном им, в формах, доступных им. Она должна непрерывно обращаться к неиссякаемому источнику живого языка — народной речи, непрестанно в свою очередь облагораживая и очищая его.

Этот тезис «Ран Армении» — полемический, и в нем Абовян выказал себя демократом, просветителем и врагом аристократического пренебрежения к народным потребностям.

Но «Раны Армении» имеют великое значение не только своим идейным багажом. Демократические воззрения Абовяна раскрываются не только в монологах и проповедях романа, но и в художественно-формальных особенностях его. Основная интрига, героический сюжет и общее настроение соприкасаются с «Разбойниками» Шиллера. Более того, образы Абовяна построены под сильнейшим влиянием Шиллера: его Агаси имеет много общих черт не только с Моором, но и с Теллем.

Восторженный романтизм Абовяна значительно разбавлен чувствительностью мещанской литературы. Рядом с героическим Моором перед Абовяном несомненно стоял образ Вертера. Все это глубоко освоено, основательно перекроено и сконструировано наново на национальном материале.

Приправленный образами, взятыми из детских воспоминаний, фольклорным творчеством, собранным у стариков и сказителей, неисчерпаемыми богатствами народной речи: грубоватой, смешанной, но почвенной и образно, с подлинно восточной пышностью обставленный описаниями природы, обычаев, быта и добродетелей своих героев, — роман Абовяна с легкой иронией описывает мужицкую масленицу, гневно осуждает невежество, с подлинным лиризмом воспевает любовь и страдания двух влюбленных. Книга «Раны Армении» и по сей день оставляет глубочайшее впечатление, несмотря на старомодное многословие и риторику, несмотря на скудность понятий, несмотря на значительную неясность социальных перспектив автора.

«Раны Армении». Идейные срывы

«Раны Армении» созданы гениальным человеком. Я говорю — гениален Абовян, а не его произведение, потому что совершенное произведение отмечает новую веху определенностью своих устремлений и тем, в какой степени отражает оно идеи и программу передового общественного класса.

С этой точки зрения роман Абовяна имеет чувствительные изъяны и провалы, которые делают его пестрым по своему идейному составу.

В основной струе романа уже с самого начала есть прожилки нефильтрованной старины, а попутные идейные ручьи явно мутны и носят на себе следы всенивеллирующего оппортунизма и социального приспособленчества.

Самая навязчивая из всех — идея религиозная. Абовян относился резко критически к церкви, но он верил, и это было ахиллесовой пятой его демократизма.

Были попытки связывать своеобразие религиозных воззрений Абовяна с протестантизмом. Однако нет ничего более нелепого, чем такая попытка. Источник религиозных мыслей Абовяна нужно искать не у Лютера, а у Руссо, у Савойского викария.

Достаточно бегло прочитать антиматериалистическую «Исповедь», чтобы понять, откуда черпал свои взгляды Абовян и чьи мысли он вложил в уста Агаси. Не лютеранство, а взгляды Руссо сквозят в его религиозных рассуждениях, в его критических нападках на попов и церковные обряды. Поскребите немного абовяновского бога, который не менее Агаси является героем «национального дела», и вы получите рационалистическое Верховное существо Савойского викария.

Бог у Абовяна — экзальтированный романтик, бог у Лютера — сухой, степенный, размеренный хранитель устоев буржуазного порядка, между ними нет ничего общего, кроме идеалистической религиозной оболочки.

Гораздо интереснее то, что Абовян хотел метод Савойского викария применить к армяно-грегорианской религии. Однако, ему так же мало посчастливилось, как и Руссо. Савойскому викарию не удалось из кусочков разгромленного материалистической и рационалистической критикой католичества сконструировать новую религию разума. А что касается Абовяна, то он, намереваясь освободить «религию» от опорочивающих ее церковно-поповских традиций и обрядов, для превращения ее в религию национального освобождения, фактически сыграл на-руку клерикальным мракобесам. Для

критики религиозных основ у него не хватило сил, а вдохновенные декламации только шли на пользу и укрепление церкви.

На французской раскаленной почве проповедь Савойского викария подверглась значительной социальной дезинфекции и в эпоху революции вылилась в грандиозную мелкобуржуазную мистификацию Робеспьеровской религии Верховного существа, а на болотных топях армянской отсталости идеи Руссо мелькнули беспокойными блуждающими огнями и были поглощены беспросветной мглой и гнетущими заботами — в этом разница и она обусловлена различием ступеней, на которых стояли страны, — производящая передовые идеи и другая — их воспринимающая.

Национальная идея — буржуазная идея, она буржуазно-демократическая идея когда противостоит феодальной сословности и провинциализму, но она в самой себе носит семена национальной исключительности, самомнения и мессианизма. Мы всех этих черт у Абовяна не найдем в «Ранах Армении», он вовсе не думает сделать армян вожаками человечества, он знает степень их отсталости и ставит себе задачей привести их в лагерь культуры.

Но, уязвленный пренебрежением других, он весь охвачен идеализацией национального прошлого: он приемлет всю сумму былых варварств, готов беспрекословно нести ответ за все величайшие преступления духовных вандалов и феодальных головорезов, деспотизма мелких сатрапов, произвола и жестокости отечественных палачей народа. Тут национальная идея перехлестнула через край, пышно взошла на страстях Абовяна и обнажила ранее срока ядовитые шипы национализма.

Совершенная культура заключалась даже для просветителей не только в приобретении знаний самим и в передаче его другим, но и в освобождении из-под гнета прошлого. Кто хотел вести свой народ вперед, должен был разбить те кандалы, которыми прошлое заковало народ, те колодки, которые угнетали его сознание, — надо было просвещать его прежде всего относительно его прошлого. Кто не видит подлинных пропорций в прошлом, тот не сможет найти правильный путь в будущее.

Отмеченный недостаток весьма велик, он проводит глубокую линию раздела между нами и романом Абовяна с его непоследовательным демократизмом.

Но даже национал-каннибальские страницы «Ран Армении» имеют особый колорит, отличающий их от национал-каннибализма последующих лет. То, что, мы знаем о совместной работе Абовяна и Мирза-Шафи[12] над созданием тюркской

литературы достаточно, чтобы предостеречь нас от приравнивания Абовяна к какому-нибудь национал-мессианисту Раффи[13] или национал-каннибалу Агароняну.

Это — птицы разных полетов!

Воистину, орлу случалось ниже кур спускаться, но курам до орла никогда не добраться.

Я выше говорил о природе русской ориентации, о социальных корнях этого явления, отметил уже все недемократическое, антидемократическое и политически недодуманное в этой позиции. Однако будет крайне несправедливо по отношению к памяти крупного демократа не принять в расчет того, что он был не только романист, но и очевидец описываемых им событий, он находился в этом потоке крестьянских переселений с места на место. Доля ответственности за русофильство ложится здесь на историческую реминисценцию, на ретроспективно отраженное воодушевление, охватившее мелкую буржуазию.

Таковы идейные срывы романа, те изъяны, которые сужают значение изумительного литературного памятника, таковы те грани, которые отделяют нас от Абовяна.

«Раны Армении» — проявление гения мощного, настойчивого, смелого, но ограниченного временем, узостью социальных горизонтов, придушенного экономической неразвитостью страны.

Микаэл Налбандян и «Раны Армении»

Как воспринял роман революционный демократ Микаэл Налбандян? Этот вопрос представляет огромный интерес при решении вопроса о социальном воздействии романа. Он вышел в 1858 году, но значительное время Налбандяну не удавалось приступить к его разбору. Потеряв надежду посвятить специальную статью роману, он в обширном примечании к полубеллетристическому произведению «Спиритизм» писал следующее: «Труд блаженной памяти Абовяна «Раны Армении» — непосредственный продукт национальной поэзии. Мне до сих пор не удавалось сказать несколько слов о нем. Вот работа, воплотившая дух нации, современную ее судьбу, ее понятия. Здесь, как в волшебном зеркале, поэт показывает простые и безрадостные картины семейной жизни армянского народа, тут мы знакомимся с заправилами села, знакомимся с их понятиями. Добросовестный поэт сводит нас с представителями духовного звания, заставляет их судить обо всем, исходя из своих понятий, дает представление о степени сознательности слушателей, и тем констатирует печальное соотношение, какое существует между ними. В этом Аполлоновом зеркале мы видим картину мертвой армянской жизни, видим, как в разных углах этого безжизненного поля бродит доблесть и с понятиями пастушеских или прадедовских времен восстает против несправедливостей, как преследуется эта доблесть и порождаются потоки слез.

В лице друзей Агаси поэт показывает, что еще не остыла армянская кровь в жилах детей Армении, показывает, что призыв мести врагам за попранные права, верования и свободу народа находит отклик в сердцах юношей нации. Показывает равнодушное отношение к друзьям Агаси, обусловленное безнадежным упадочным состоянием нации, как целого; трусливым, женским сочувствием к этим героям окружающих Абовян дает понять, что дух друзей Агаси — не всеобщий и не общенациональный, что эти горячекровные мужчины окружены холоднокровными людьми, в глазах которых всякий нравственный вопрос потерял свою ценность, что единственное геройство доступное им — плач, нытье и слезы, без поисков средств выхода из этого состояния. Видим в этом зеркале варварское обращение персов с несчастным нашим народом, угнетенное состояние нашего народа. Тут поэт показывает отношения, которые мог установить некультурный народ к

тираническому владычеству».

Так понял Абовяна революционный демократ с большим рвением пересматривавший национальные задачи в свете учения Чернышевского, Герцена и других. Далее, полемизируя с западноармянским публицистом С. Восканяном, который доказывал, что невозможно судить о «Ранах Армении» по европейским канонам потому, что написаны они для простолюдина и мужицким стилем, Налбандян писал:

«Если «Раны Армении» Абовяна имеют достоинства, и эти достоинства можно оценить, то это можно делать только по европейскому канону, который рассматривает суть дела и то, в какой мере автор понял и решил стоявшую перед ним задачу. Если оставить европейские каноны и оценивать его на азиатский глаз, тогда он покажется нам сказкой». «Для простолюдина и мужицким стилем написана она», — говорит Восканян. Не согласен: написан роман для всего народа. Там много поучительного не только для крестьян, но и для горожан, и для полуграмотных интеллигентов-армян. Потеряв свою политическую независимость, потеряв родовитых аристократов, армянский народ уничтожил и простолюдина, ибо он может быть только там, где есть родовитые аристократы. Аристократизм — не от богатства, подобно тому как простолюдины — не от бедности. Сейчас каждый член нашего народа равен другому. Не имея в составе нации аристократов и простолюдинов, мы не имеем и свойственного этим состояниям наречия.

Старый и умерший грабар — не аристократический язык, подобно тому как живой народный язык — не язык простолюдина, как полагают некоторые нелепые люди (в числе их француз Дюлорье, который наш народный язык и вообще живое армянское слово называет жаргоном). О языке Абовяна можно лишь заметить, что он включает очень много из местного наречия, но и это для Абовяна имело особый смысл.

Портрет Налбандяна. 1859–1860 годы

Но на этом основании не признавать великое достоинство книги было бы несправедливо. А достоинство ее в том, что она хочет раскрыть жизнь народа перед ним же.

Да, Абовян не придал своему творению того направления или завершения, которое обычно для европейских поэтов; не показывает он нам законченную личность, а развертывает вереницы различных картин, назвав их единым именем «Раны Армении». Неровности языка и стиля не являются продуктом увлечения поэта немецким, а являются результатом влияния местного народа и его манеры выражения.

Да, мы видим нагромождения огромного количества синонимов, но не забудьте, что Абовян поставил себе задачей написать так, чтобы необученный народ не думал, будто читает

книгу, а воспринял рассказ как беседу. Что же делать Абовяну, если азиат чрезмерен во всем?»

Налбандян — представитель ближайшего поколения, того поколения, для которого писал свой манифест Абовян. Приведенный отрывок явно свидетельствует, что манифест дошел до сознания революционных демократов, что он был ими принят как декларация прав народных низов.

Не все идейные недочеты романа отмечены Налбандяном. Сами революционные демократы возникли в процессе преодоления ограниченностей и недочетов, обусловленных феноменальной отсталостью страны. Налбандян превосходно отчитал «аристократа» из константинопольских лабазников, но классовую природу его выступления просмотрел. Ренегат и перебежчик в лагерь Кавеньяка — Восканян понимал, куда направлена экспрессия «мужицкого романа». Его пренебрежительный кивок лишь подтверждает добротность демократизма Абовяна.

«Парап вахти хахалик»[14]

Непосредственно вслед за «Ранами» составлена книга для народного чтения «Парап вахти хахалик», которую не так давно издательство «Дасакаргаин Пайкар» выпустило с иллюстрациями и комментариями.

В творчестве Абовяна эта книга наряду с «Предтропьем» занимает исключительное место и если националистическая интеллигенция обошла вниманием оба эти памятника раннего демократизма, то только потому, что она имела злостное намерение исказить образ этого мятущегося искателя путей к современной западной культуре.

Книга для народного чтения, от начала до конца составленная Абовяном, должна была наиболее полно раскрыть его взгляды, которые он намеревался пропагандировать в широких народных массах «для сотен тысяч» на том языке, который он считал языком народа, теми образами, которые он черпал из народного творчества и разработкой тех сюжетов, которые были особенно близки народному фольклору, а, следовательно, и народному пониманию.

«Парап вахти хахалик» — дидактический сборник, вот почему он всего полнее должен был отразить мировоззрение Абовяна. «Часто в свободное время думал я писать такую книгу, которая пришлась бы по душе нашему народу», — писал в своем предисловии Абовян и после долгих опытов он остановился на этом сборнике, который и построил на новом армянском языке, «чтобы все поняли». Он включил в книгу собранный им фольклорный материал, переложенный в стихотворную форму, «а переведенное я так переработал, чтобы было по душе нашему народу».

«Если, — заканчивает он предисловие, — ученые люди меня за это упрекнут, хоть ты меня защищай, дорогой народ, ибо единственно, что я желаю — служить тебе, жертвовать собой во имя твое, пока я жив».

Достаточно самого поверхностного взгляда, чтобы убедиться, что Абовян честнейшим образом выполнил свое обещание и создал книгу для «сотен тысяч».

В книгу включены басни, народные анекдоты, рассказы, прибаутки, пословицы, поговорки, частушки и просто распространенные нравоучения. Чем руководствовался Абовян при создании книги? Вот вопрос, который имеет для нас решающее значение.

Автограф Абовяна. Басня «Осел и соловей»

Какой-нибудь идейный либерал подошел бы к задаче с точки зрения «разностороннего» обслуживания «различных» интересов, скрупулезный фольклорист занес бы на скрижали все, что он услышал из уст народных сказителей, не принимая в расчет никакие соображения, кроме возможной аутентичности, литературный эстет с манерной изысканностью стал бы полировать стих и мысль, чтобы изгнать из них запах мужицких онуч.

Абовян не был бы ранним демократом, если бы не преодолел эти опасности. Он установил свой собственный критерий. Он вовсе не намерен либеральничать, он ставит себе задачу не только дать книгу народу на понятном ему языке, о понятных вещах, но и книгу, несущую в эти массы определенную сумму идей. Эта идейно-публицистическая сторона дела до того важна для Абовяна, что он часто прибегает к коренной перестановке персонажей переводимых басней и притчей, к замене нравоучений их, к строгому подбору самих басен и притчей, к внимательному процеживанию частушек, к включению ряда

стихотворений лирического характера из своего романа «Раны Армении».

Все это сделано ради идейной и публицистической законченности. Примечательно с точки зрения целеустремленности книги, что не только басни, но и притчи и анекдоты имеют нравоучительные вступления или заключения.

Конечно, Абовян понимал, что такая решительная направленность его книги неминуемо породит ей много врагов, однако он без колебаний напутствует:

> «Кто сочтет ниже своего достоинства прочитать тебя,
> Пусть про себя оставит свои способности и не подходит к тебе,
> Трудное ли дело растекаться мыслями?
> Темные разговоры кому что дадут?
> Разговор только тогда и имеет смысл, когда его понимают,
> Иначе — он пустой, на ветер».

Выше я уже отметил, что большая часть книги занята баснями и нравоучениями, это вполне естественно. Басни для целей Абовяна наиболее подходящий жанр, потому, что басня — это своего рода художественная публицистика. Из всех видов дидактической литературы басня ближе всего подходит к народному творчеству, и по приемам и по сюжетам она имеет много черт, соприкасающихся со сказками, поговорками, пословицами и анекдотами, а часто, совпадающих с ними. Отсюда и то удачное сочетание, которое Абовян создал в своей книге из всех этих жанров.

Основное средство сатиры — иносказания, аналогии, часто совершенно невозможные ситуации, задача которых иллюстрировать и сделать наглядным и убедительным нравоучение — является конечной целью всякой басни. Если до Лафонтена и Крылова басня была родом проповеди и целиком подчинена морали, то после Лафонтена баснописцы, особенно Крылов, подняли басню до подлинного художественного совершенства. И тем не менее, даже в своих совершенных образцах басня осталась публицистикой.

Абовян почти все свои басни переводил из Крылова, Хемницера, Дмитриева, Лафонтена и др. Он их подбирал очень тщательно. Из существовавших вариантов избирал тот, который отвечал его целям, приближался к его точке зрения.

В армянской литературе после Абовяна не раз были переведены те же басни, иные из этих переводов очень удачны и

формально совершенны, но это обстоятельство ни в какой мере не обесценивает книгу Абовяна: ее значение, повторяю, в ее идейном комплексе, который непревзойден по своей демократической последовательности.

Баснописцы часто выглядят сухими моралистами. Даже у таких художников, как Лафонтен и Крылов нетрудно найти много басен, написанных как менторское внушение. Абовян в этом смысле исключительное явление среди баснописцев, его страстность не дает ему иссушить себя на плоской морали.

Абовян не объективен, он вовсе и не претендует на это скучное звание. Он — страстный проповедник, поэтому из-под его пера выходят бескомпромиссные пороки и добродетели. В Европе и русской литературе басня застала в народном творчестве твердо установленные репутации: за лисой — хитрость, за зайцем — трусость, за медведем — простоватость и т. д. Абовян этими штампами пользуется с изумительным мастерством. В армянском народном обиходе осел, свинья, баран, лиса и т. д., каждый в отдельности являются общепризнанными символами. Он с несравненным мастерством оперирует в своих целях всем арсеналом народных оборотов, эпитетов и штампов. Образы его богаты, разнообразны, но схематичны, лишены всех черт, которые могли бы смягчить основные характеристики.

С точки зрения техники, все басни и стихи Абовяна в наши дни кажутся беспомощными. Он не обучался науке стихосложения, он не учел опыт поэтов других стран, он даже как будто не принимал во внимание опыт стихосложения грабаря. Его ритмы монотонны, метры стиха однообразны, рифмы неуклюжи и нередко наивны: сегодня любой начинающий поэт может уличить Абовяна в семи смертных грехах против законов стихосложения[15]. Однако думаю, что Абовян сознательно предпочел эту вольность в законах стихосложения, желая таким образом избежать слишком вольного обращения с языком. Ведь и законы стихосложения должны подчиняться диалектике. Они и язык долго борются друг с другом, пока находят удобный для обоих компромисс.

Абовян без труда мог облагораживать «стих», но это потребовало бы «облагораживания» языка, чего Абовян не хотел. Важнее всего было дать язык таким, каким его понимают сотни тысяч, а если при этом несколько пострадают законы стихосложения — что за беда.

В этом решении вопроса армянской просветитель перекликается с русскими демократами и просветителями.

Стихи его монотонны, это правда, они несовершенны, это тоже верно, но почему мы их и теперь читаем с интересом? Да

потому, что Абовян вложил в них подлинную социальную страсть, потому что он вычерпал из народного творчества острые, примечательные и меткие поговорки, прибаутки, пословицы, и еще потому, что язык этих стихов не исковеркан и сохранил весь подлинный аромат народной речи: нет ни одного слова грабара, ни переставленных ударений, ни искаженных слов, ни съеденных окончаний, все меры приняты, чтобы сохранить неприкосновенным грубоватый народный язык.

По идеям своим Абовян и здесь чистокровный просветитель. Он высмеивает глупость, грубость и необразованность, он едко издевается над невежеством, самомнением, зазнайством и самохвальством. Он не выносит произвола, осуждает хитрость, зависть, жестокость…

Огромное место в проповеди Абовяна занимает проблема социального неравенства: бедный и богатый, сильный и слабый, трудящиеся и дармоедствующие эксплуататоры, причем естественно все его сочувствие на стороне бедных, слабых, трудящихся.

Наконец, первостепенной важности общественные нравоучения он выводит из собственного опыта, из своего короткого, но тяжелого столкновения с отечественной действительностью. Какое колоссальное место занимают биографические мотивы в его нравоучениях, — легко можно видеть, внимательно перечитав прозаическое вступление к басне «Осел и соловей». Сколько было нужно ему вынести оскорблений, унижений, упреков и лишений, чтобы из-под его пера вылились такие горькие слова.

«Мои сочинения на народном языке немало испытали такого (упреков невежд — В. В.), не понимают мысль человека, а зря осуждают. А однажды один сказал — что же делать, было бы неплохо, если бы портной знал свой аршин, шорник свое шило, хлебопек — свою веселку, и занялись бы каждый своим делом, да вот не выходит. — Не мне учить, однако горько бывает, когда даже такой осуждает, который имя свое не умеет писать без ошибок. Правду говорят — никто в своем отечестве не пророк».

В тяжелой борьбе Абовян отстаивал новый язык!

В каждом произведении ему приходилось оправдываться и апеллировать к читательской общественности, то есть к тем широким слоям демократии, к тем сотням тысяч, для которых он творил. В своем предисловии к «Феодоре» он писал: «Надеюсь, что прочтут с охотой, ибо ни единого трудного слова в ней нет, все писано на новом языке. Нарочито писал на этом языке, чтобы все ее поняли — и крестьяне, и горожане. Ужели крестьянин не человек и не желал бы слышать или читать что-либо повое? Опять

— пусть недовольные осуждают».

Басни Абовяна во многом являются откликом на события его времени, на те варварские преследования, которым он подвергался. Они разоблачают те пороки, которыми он был окружен. Это не иллюстрации к абстрактным этическим правилам, а выстраданные истины. Вот почему в них так много яда, горечи, сарказма и гнева.

Этот гнев перекликается с нашим временем. Абовян не понимал корней многих зол, его окружающих, не знал социальных источников пороков, классовой природы того бескультурья, которое проявлялось на каждом шагу, но все это он ненавидел непримиримо, страстно и в этом великая заслуга Абовяна.

Для нас сегодня басни и нравоучения Абовяна не имеют того агитационного значения, какое они имели в свое время. Многие из тех истин, за которые так страстно сражался Абовян, теперь не возбуждают полемики, до того они стали привычны. Столь страстная их защита вызывает недоумение. Многое устарело. И тем не менее читатель нашей эпохи с величайшим вниманием прочитывает памятники здорового детства, эти страстные проповеди раннего демократа.

Если Абовян еще не видел путей к победе, то только потому, что в этой варварской среде пути и не намечались. Рабочий класс еще не был собран, а мужицкая демократия без пролетариата бессильна найти выход. Это бессилие и обнаруживает «Патриот перед смертью», когда он говорит: «О, люди, когда же вы проснетесь, чтобы объединившись сердцами служить подмогой друг другу, узнать, что для нас жизнь и рай заключаются в понимании нужды и горя бедного народа».

Когда же они проснутся?

Абовян не мог разглядеть в тумане будущего это благостное время и отсюда вся дальнейшая трагедия его жизни.

Годы поражений

В августе 1843 года Х. Абовян выехал в Эривань. Все следующие четыре с половиной года представляются одной непрерывной цепью трагических неудач. Они сталкивали Абовяна попеременно и с обществом, и с духовенством, и с власть имущими. Эти годы привели его постепенно к абсолютной изоляции, создали те условия, при которых он не только не мог заставить других работать над осуществлением декларированных им демократических идеалов, но и сам был лишен всяких возможностей осуществлять свои идеалы, пока, наконец, не пришел к убеждению, что старыми методами найти выхода из тупика и противоречий невозможно.

Что представляла собой тогдашняя Эривань? Значительная заминка транзитной торговли, происшедшая в результате войны и таможенной борьбы с Персией, сильно ослабила жизненный пульс города. Старые властители ушли, новые еще не смогли вторгнуться во все детали жизненного механизма старого, узкопроулочного, кривоколенного, глинобитного города.

Абовян приехал в Эривань в качестве представителя культуры, насаждаемой новыми властителями, для которых эта культура была одним из средств «освоения» страны. Но культура победителей туго проникала в почву, хотя она имела все преимущества и была выше того суррогата, который под именем культуры до того насаждало духовенство как армянское, так и мусульманское.

Национал-демократов смущало согласие Абовяна стать смотрителем казенной школы. Они не прощали ему непримиримую ненависть к церковной школе.

Всю прелесть церковной культуры Абовян испытал в детстве. Его ненависть к этим застенкам была вечной. Он пытался сам прокладывать пути для новой демократической культуры, — эта попытка встретила непреодолимые для отдельного лица сопротивления духовного клира. На большой дороге культуры для армянских трудящихся была застава из крепких стен Эчмиадзина, и сокрушить ее Абовяну было не под силу. Он пошел на казенную службу и хлеба ради насущного, и увлекаемый надеждой хоть бы в тех ограниченных пределах, какие позволит казенная школа, вести педагогическую работу и бороться с мракобесием церковных и мечетских школ.

Ничего не могло быть естественнее для него.

Но застал он в Эриванской школе невеселую картину. В первом же своем докладе уже четвертого сентября 1843 года (а

приехал он в Эривань пятнадцатого августа) Абовян пишет инспектору, что нашел школу в плачевном состоянии, ученье запущенным. «Татарского учителя хвалят», — сообщает он и недоумевает: как можно хвалить учителя, который совершенно равнодушно смотрит на процветание мечетских застенков, «в целом училище четыре человека из татар, а мечети, лавки наполнены учениками всякого возраста, их в целом городе больше 460 человек. Я не понимаю, как по сие время не обратили на этот предмет никакого внимания: всякий, кто только грамотен, держит учеников без всякого свидетельства и без ведома начальства».

Является ли воспитание детей занятием, требующим специальных знаний или им может зарабатывать себе пропитание всякий дьячок — вот вопрос, который имел принципиальное значение для Абовяна. Глубоко идейным борцом за нового человека выступает перед нами Абовян в этих бесконечных столкновениях с церковными застенками, с безграмотными цирюльниками, лавочниками и дьячками, терзающими детей.

На старых путях нельзя готовить новых людей, поколение, идущее на смену, должно быть воспитано с соблюдением минимума научности. Такой минимум дадут государственные экзамены, открытые школы. Пусть эти школы имеют свои недочеты, но все же они во много раз лучше, чем монастырские костоломни.

Великолепный демократ скорбит о калечащихся душах детей, о погибающих представителях грядущего поколения, которых дурное воспитание вгоняет в рабство и пороки.

Но Абовян был утопист. Он не понимал, что такую школу, какую он создал в своем воображении, можно было только отвоевать, что путь к ней лежал через борьбу с крепостничеством и самодержавием.

Он был утопист и не принимал в расчет диалектическую взаимообусловленность всех тех пороков, которые он пытался преодолеть, не видел их неразрывной связи с феодальным крепостничеством, а потому каждый его практический шаг, направленный к осуществлению какого-нибудь кусочка его идеала, завершался неудачей.

Как только Абовян познакомился с обстановкой и людьми, он решил обновить состав преподавателей. Хотел выгнать преподавателя русского языка, безграмотного Векилови, и не мог. Эта неудача его не обескуражила, он снова взялся за очищение школы от людей с дурной репутацией. Хотел убрать преподавателя закона божия Иоанисяна, безнравственного негодяя и невежественного шарлатана, — и опять постигла

неудача. Проводя решительную борьбу с перенесением мордобойных нравов монастырских школ в уездное училище, Абовян попытался устранить горького пьяницу и садиста Иванова за жестокое обращение с учениками, но тоже не смог.

И все это на фоне постоянных непрекращающихся конфликтов с начальником города Блаватским, который всемерно препятствовал нововведениям Абовяна и неизменно отстаивал всех негодяев.

На какой почве Абовян сталкивался с главою чиновничества? Думаю, основная причина — добросовестность, с какой Абовян относился к своим обязанностям. Что могло быть более преступного в глазах николаевских чиновников, развращенных безответностью недавно покоренной страны, чем добросовестность? Начиная от начальника города — Блаватского и кончая рядовым чинушею, все были в неприязненных отношениях с Абовяном, все считали его человеком неуживчивым, придирчивым, вечно недовольным, вечно озабоченным какими-то подозрительными заботами об интересах народа, постоянно общающимся с простолюдинами, ежедневно собирающим вокруг себя учеников для внешкольных занятий — да разве всего этого мало, чтобы чиновник счел его за опасного человека! Можно было бы, конечно, соблюдая «подобающую скромность», жить в мире с этими жандармами. Но Абовян гордо пронес знамя независимой честности сквозь все лишения, преследования, оставаясь поборником света, знания и культуры, печальником народного страдания и предвестником грядущего дня.

Каждый из этих конфликтов начинался и протекал под свист и улюлюканье реакции, попов, чиновников, лавочников…

Какие нервы могли выдержать?

Ученик Руссо, последователь трудовой педагогики, гуманист и демократ Абовян не только проповедывал, но и пытался реализовать на деле советы автора «Эмиля». Он по стопам Руссо энергично принялся организовывать сельскохозяйственную станцию с учебно-показательным садом, Занял участок, очистил и подготовил его совместно с учениками, сделал небольшие вложения из казенных и личных денег и поручил своим ученикам и друзьям доделать немногие работы, пока он закончит свое путешествие с ученым Абихом. Но когда Абовян вернулся, застал станцию разоренной, а вокруг него и его предприятия разросся кустарник клеветы и инсинуаций.

Ни «Эмиль» не удался, ни денег своих он не вернул, а врагов нажил.

Пользуясь своим правом инспектировать сельские школы,

Абовян объезжал близлежащие деревни и вводил культурные порядки в школах. Но культура в этом мраке сама по себе считалась уже преступлением!

Там, где истязание детей было верхом педагогической мудрости — там проповедь человеческого отношения к детям и требования уважения к личности ребенка должны были казаться якобинством! Вот рассказ Перча Прошьяна о посещении Абовяном одной из сельских школ.

«Лето. Звонкая июльская жара. А мы занимаемся. Если бы небо огнем палило, то и тогда Шабо (так звали крестьяне нашего учителя) нас не распустил бы. Хоть бы умерил занятия. Куда там! Для Шабо не существовало ни лета, ни зимы. Не помню — третьего или второго года летом неожиданно влетает наш учитель в нашу школу под открытым небом и в испуге орет: «Оправьтесь, установите порядок, становитесь смирными, как вкопанные. Приехал глава эриванского казенного училища, сейчас будет здесь, вас будет расспрашивать, горе тому, кто хоть одной буквой ошибется, умрет под моими розгами». Бедный Шабо дрожал, как лист. Лицо пожелтело, зуб на зуб не попадал». Убрав школу, дети уселись в ожидании гостя. «Тонкая розга свистела в руках учителя, опускалась на голову то одного, то другого, сопровождаемая наставлениями — подравняйся, сиди смирно, держи книгу правильно и т. п.». Вошел Абовян. Ознакомившись со школой, он узнал о побоях. Учитель с гордостью заявил, что «только безжалостными наказаниями» он достиг желанных результатов.

— Дети, — обращается Абовян к школьникам, — если я попрошу у учителя, чтобы с сегодняшнего дня вас не били, обещаете ли всегда прилежно готовить уроки?

— Обещаем, — заорали мы хором.

— Тогда будьте покойны, побои изгоняются из вашей школы.

Учитель хотел доказать необходимость побоев — но напрасно.

Инспектор ввел еще одно нововведение. Он изумился, когда узнал, что мы лишены купанья. Он сам в тот же вечер повел нас к реке и с нами вместе выкупался в запруде. Он был прекрасным пловцом… Три дня беспрерывно инспектор ходил нас навещать. Невиданные и неслыханные новости вводил в нашу привычную к дубине и розгам среду. Обучал новым играм, сам с нами играл и заставлял учителя следовать своему примеру… На четвертый день семьдесят детей, учитель Шабо и половина деревни провожали пешком уважаемого инспектора эриванского казенного училища. Он сам пожелал, чтобы мы его провожали с песнями и весельем. Он не садился на коня. Окруженный

школьниками, подбадривая нас, шел пешком. На прощание он сказал:

— Дети, ваш учитель мне обещал в дальнейшем не бить вас, в летнюю жару заниматься только в утреннюю и вечернюю прохладу, обещал ежедневно под вечер брать вас купаться, в день два часа играть с вами. Ребята, если у вас будут какие просьбы, адресуйте мне, я разрешаю письменно обращаться ко мне, прямо в училище. Не стесняйтесь, я сам мужицкий сын из села Канакер. Мое имя — Хачатур Абовян.

Он давно уже скрылся за холмом, а мы продолжали кричать в его честь.

«С этого дня побои были изгнаны в нашей школе», — добавляет Прошьян.

Не удивлюсь, если в архивах какой-либо прилежный доцент Армянского университета обнаружит донос на него, такого «опасного якобинца», написанный кем-либо из его поповских врагов и завистников, апостолов мордобоя и героев розг.

Соединенные усилия всех темных сил — среды и системы все настойчивее толкали Абовяна на путь политической борьбы. К. Кох, современный беспристрастный наблюдатель, говоря об Абовяне, который давал ему всякие сведения этнографического и бытового характера, пишет: «Возможно, что в том или другом вопросе он уклонился от путей, намеченных правительством в области народного образования, поскольку внешнее, формальное не удовлетворяло его возвышенную душу, возможно также, что и он имел кое-какие срывы, но несомненно Закавказье не видело такого учителя, который с такой любовью, с такими жертвами посвятил бы себя делу воспитания детей, как Абовян.

Я не друг армянского народа, но, судя по Абовяну, я увидел, что и среди них имеются хорошие и благородные люди, которые носят в груди высокие стремления и заслуживают наше полное признание. К сожалению, Абовян никогда не пользовался в Закавказьи признанием, какого он заслуживает, и мелкая злоба чиновников мешала ему без конца в его честных и неутомимых стремлениях. Если бы армяне имели хотя бы еще толыко сто человек, которые в равной степени обнаружили бы те же стремления, тогда страна переживала бы уже высокий подъем. С гордостью Россия тогда могла бы смотреть на жемчужину своего далекого владения. С сердцем и не с черствым, только умно, рассчитано начинает он воспитание юношей, юношеской наклонности, пытается привлечь к добру и добивается всеми способами привить ростки немецкой морали (!! — В. В.) и поддерживать их.

Если Абовян в качестве инспектора эриванской школы сумеет

остаться в кругу нынешней деятельности и его подчиненные окажут ему деятельное содействие, а также оценят его в необходимой мере, можно надеяться что из Эривани блеснет новый свет для этого несчастного и забытого, веками попираемого армянского народа».

Так пишет путешественник, сторонний наблюдатель, случайный кратковременный зритель, от первого же взгляда которого не ускользнуло расхождение между педагогикой Абовяна и мертвой зубрежкой, жестокой муштрой казенных дрессировщиков. Это расхождение еще острее подчеркивало его одиночество, изолированность. Он хотел бороться против поповских застенков, опираясь на светские школы, но и в светской школе у него не нашлось опоры.

Демократическая школа должна быть светской, это верно, но и светскую демократическую школу надо будет завоевать, как и другие демократические права — вот спасительный вывод, который напрашивается сам собой.

Дошел ли Абовян до него? Сумел ли он сделать этот вывод? Ответить на эти вопросы мы пока не можем, но есть среди известных нам материалов факты, которые свидетельствуют о несомненном прояснении политического сознания Абовяна, о превращении педагогических сомнений в политические протесты.

Разве глухие намеки Коха не говорят о наличии безнадежного разрыва между «возвышенными стремлениями» Абовяна и официальной политикой, о прямых протестах против официальной рутины. К этому свидетельскому показанию мы можем добавить собственные слова Абовяна.

В 1847 году он писал Френу: «Ах, если только г. министр пожелал бы знать, в каком состоянии здешние школы. Государство тратит лишь зрящные деньги, а юноши теряют прекрасное время. Если об этом говоришь, подвергаешься преследованиям, как протестант, а не говоришь — получается безобразие. На твоих глазах попираются интересы правительства и собственной твоей родины. Не путем увеличения жалования учителям можно улучшить это невыносимое положение, а путем введения хорошей организации, назначения знающих людей, поощрением тех, кто свое дело ведет с любовью и энергией. Я дал заветное слово покойному Парроту, незабвенному моему учителю и другу, никогда не бросать педагогическое поприще, даже если передо мной откроется самая соблазнительная карьера. Тем не менее теперь я почти вынужден делать этот шаг, поскольку одиннадцать лет я наблюдаю эту рутину и бессилен сделать что-либо против нее. Лучше одному иметь пятьсот учеников, чем воспитывать пятьдесят учеников при пяти учителях, которые ни

на что не годны».

Это еще не прямая критика самодержавия, это не прямая революционная критика режима, но в этом настроении есть уже элементы, которые неминуемо должны сложиться в открытый протест. Только при свете этих смутных настроений становится понятным изумительно ясное для своего времени представление Абовяна о природе колонизаторского грюндерства великодержавных ташкентцев, наводнивших вновь завоеванную страну.

Были попытки прямого обвинения Абовяна в поддержке великодержавных тенденций царских чиновников. Однако нет ничего более оскорбительного для памяти Абовяна, чем такое обвинение. Думаю, без преувеличения можно сказать, что ни один из армянских публицистов за все время истории национал-демократизма не поднялся до такого ясного понимания антикультурной роли великодержавия, как этот ранний демократ. Он превосходно учитывал, что церковные застенки процветали и выдерживали всякие конкуренции только потому, что на другом полюсе было великодержавное пренебрежение к запросам основных масс трудящихся, а потому он непрестанно делал попытки отвоевать в казенных школах равные с русскими права для национальных языков. Причем эта здоровая просветительская борьба за обучение на родном языке тем и отличалась от трескотни всяких национал-каннибалов, что он с одинаковым рвением отстаивал этот принцип как для армян, так и для тюрок.

Вообще Абовян бесконечно опередил своих современников. В первые годы он разделял иллюзии всей мелкой буржуазии на счет России. Но опыт ближайших лет показал что нет места для каких-либо иллюзий. Он превосходно понял смысл и значение великодержавной агрессии, ее эксплуататорскую природу. Он видел пренебрежение с каким новые хозяева смотрели на завоеванные народы и безошибочно определил грабительски-колонизаторский характер интереса русской чиновной и нечиновной грюндерской саранчи, которая наводнила вновь приращенные области империи. В этом отношении есть очень показательные строки в его «Азарапешан»[16]. Недостаток места не позволяет разобрать это интереснейшее, насквозь утопическое, но крайне характерное для Абовяна произведение, остановлюсь только на заключительной картине. В гостеприимную страну открытых сердец приезжает колонизатор-европеец (совершенно безразлично какой национальности, так как Абовям имел много случаев убедиться, что все колонизаторы похожи друг на друга). Как он ведет себя — Абовян наблюдал много лет. Его жадный нрав он изучил превосходно, его взгляды он знает и потому без

труда дает его убийственную характеристику.

Абовян вкладывает в уста этого циничного колонизатора следующий «символ веры» подлинного ташкентца:

> «Не выполняй что бы ни сказал, просьбы не удовлетворяй,
> А золото, цельноголовый сахар,
> Сундуками чай, пестрые рубли
> Тяни в карман — хоть бы душу вон,
> А если что скажут — покажи им зад.
>
> Откуда азиат знает законы,
> Чтоб осмелиться перечить тебе?
> Бей по башке, водворись в стране и кути,
> Карманы наполняй и иди во свояси».

Это отлично подмеченная точка зрения колонизаторской бюрократии — варварской и грабительской. Но понять это — еще не значит сделать все выводы. Абовян был очень близок от правильного вывода, когда писал: «Если бог даст — наши азиаты также рано или поздно раскроют глаза и тогда не позволят, чтобы всякий негодный человек кричал на них».

Не ошибусь, если скажу, что эта угроза — самое высокое достижение его политического сознания. Она же раскрывает перед нами политическую подоплеку и дальние цели его просветительской деятельности. Он вовсе не так был далек от революционного демократизма, как это кажется с первого взгляда!

Да разве могло быть иначе? Разве мог Абовян после таких неудач не прийти к революционному выводу? Ведь у него была возможность убедиться, что не только церковь, но и чиновные сатрапы самодержавия служат непреодолимой помехой просвещению. Сколько раз, сопровождая путешественников, он имел случай ознакомиться с нуждой трудящихся, с бесправием и глубоким невежеством основных масс народа, с унижением, которому подвергало массы высокомерное и наглое чиновничество.

Абовян сопровождал Паррота еще юношей. По возвращении из Дерпта он последовательно участвовал в экспедициях А. Гакстгаузена (август 1843 года), М. Вагнера, Ф. Боденштедта (март 1844 года), Абиха (апрель-сентябрь 1844 года), Сеймура (август-сентябрь 1846 года), К. Коха. Путешествия эти имеют исключительно важное значение не тем, что он мог получить от ученых педантов — многие из них были реакционно настроены,

Абовян же был вполне сложившимся демократом, — а тем, что они раскрывали перед ним страницу за страницей самые потайные, глухие углы страны (он сопровождал их не только по русской Армении, но и по Маку и Баязету), и видел собственными глазами подлинную глубину нищеты и невежества, в которую погружен народ, многомиллионные трудящиеся массы.

Он наблюдал механику колониального угнетения в действии, огромную сеть, опутавшую жизнь и сознание трудящихся, и эта система все яснее представлялась ему глухой непроницаемой стеной.

Система, которая оказывала сопротивление даже элементарной работе по пропаганде новых методов хозяйствования.

Первый же неудачный опыт Абовяна с агропропагандой обнажает всю антинародную, всю великодержавную сущность политики новых властей.

Нельзя не остановиться на этом эпизоде из его деятельности, столь характерном для него, утописта и демократа.

Надежды на возможность принести пользу народу пропагандой нового усовершенствованного земледелия всегда чрезвычайно занимали Абовяна. Он предполагал в своих трудовых школах культивировать новые сорта растений, новые методы обработки почвы, новые удобрения. Он даже обратился в тифлисское «Закавказское экономическое общество» с соответствующими просьбами:

«Имея пламенное желание быть полезным моему родному краю в вопросах сельского хозяйства, считаю долгом обратиться к вашему благородию сделать распоряжение послать мне, елико возможно спешно, разных сортов, особенно с коммерческой точки зрения нужные семена. Всего более желательно иметь американского и египетского сортов хлопка и американского табака высокого сорта, шафран, индиго, словом все, что общество может выслать мне для пользы края».

Далее он требует машину для очистки хлопка: «приобретение такой машины и эксплуатация ее при помощи сил воды было бы для этого края величайшим благодеянием».

Но не наивна разве была надежда, что тифлисские чиновники воодушевятся идеей усовершенствования земледелия на мужицких полях? Великодержавное Экономическое общество вовсе не интересовалось ни развитием «родного» края Абовяна, ни обогащением «родного народа». Другое дело, если бы Абовян предложил все эти усовершенствования вводить в угодьях какого-нибудь князя. Неудача Абовяна была совершенно неизбежна и глубоко поучительна.

Чем больше неудач постигало его в попытках законного осуществления своих идеалов, тем чаще он прибегал к собственным мерам для защиты своих позиций и прав. Подобные меры восстанавливали против него невежественных людей. Интересен случай с Африкяном. Этот раб перед сатрапами и сатрап перед подчиненными ему, коновод купеческой вольницы, отвешивал поклон до земли перед русским чинушей самого низкого класса, попа приветствовал, приподымая с сиденья тяжелый зад, а учителя Абовяна ни во что не ставил. Однажды Абовян шел следом за чиновником ниже его по классу. Африкян склонился перед чиновником и демонстративно задрал голову перед учителем. Абовян избил его палкой. Конечно, это не метод культурной работы; разумеется, своими средствами такие проблемы, имеющие глубочайшие социальные корни не разрешить, и поступок Абовяна (вероятно не единичный) иначе нельзя толковать, как акт отчаяния.

Но непонятны упреки по адресу Абовяна. Не на него, а на Африкяна, на попов, епископов, чиновников, раболепных интеллигентиков — вот на кого падают упрек, вина и ответственность.

Абовян в борьбе с монастырским застенком, иногда даже прибегал к помощи русских царских законов. Он предлагал закрыть медрессе при мечетях и требовал запрещения приема детей гражданского населения в армянские духовные шжолы. Дашнакско-либеральная армянская интеллигенция в 1913 году много волновалась, когда Лео опубликовал это письмо в духовную школу с требованием прекратить прием детей не из духовного звания. Но это было понятное волнение. Национал-каннибалы не хотели и не могли понимать демократа Абовяиа, который даже в своих утопических расчетах стоит недосягаемо выше варжапетской[17] «общественности».

С европейскими путешественниками по Армении

В самый разгар борьбы с тифлисскими педагогическими мастодонтами приехал на Кавказ — известный тогда путешественник — Мориц Вагнер. Это был еще молодой ученый, проделавший длительное путешествие по Алжиру и известный ученой Европе своими вдумчивыми наблюдениями. Он занялся в начале сороковых годов геологией, поэтому вести об извержении Арарата и о погребении села Аргури под лавой (1840 г.) естественно заставили его в первую очередь избрать объектом нового путешествия район Арарата. Прибыв в Тифлис, он был задержан на несколько дней. За это время он познакомился с рядом людей, оказавших ему огромную пользу. Среди них — с Абовяном.

Абовян произвел на Вагнера колоссальное впечатление. Вагнер свою книгу открывает биографией «своего друга». На всем протяжении его книг чувствуется полное доверие к тем сведениям, которые сообщал Абовян. Вагнер охотно пользуется ими.

На наблюдательного и культурного европейца всего сильнее однако произвел впечатление трагизм положения Абовяна, человека огромных возможностей, но обреченного на крохоборчество. Вагнер был изумлен, наблюдая, с одной стороны, огромные успехи учеников Абовяна, подлинно европейские методы его педагогики, с другой — несоразмерно трудные препятствия, которые он был вынужден преодолевать.

Выше я цитировал уже его рассказ о посещении им частной школы Абовяна. К ней он возвращается каждый раз, когда ему приходится говорить о школах. Разбирая план Гана насчет создания окружных школ, Вагнер пишет: «К сожалению, в окружном училище Тифлиса мало учителей, которые действовали бы с таким же благородным рвением, с такой же благодетельной удачей, как часто упоминаемый мною армянин Абовян, друг Паррота, питомец немецкого университета. Не говоря уже об окружной школе Эривани, которая была в абсолютном пренебрежении (в 1843 г.). Невежеству и лени учителей соответствовали успехи учеников, которые, несмотря на естественные дарования, не будились от духовного сна даже после многолетнего пребывания в школе. Неописуемая нищета эриванской школы вызывала во мне столь же большое удивление, сколь приятно изумляли меня бодрость духа, знания и хорошее

нравственное состояние питомцев господина Абовяна в Тифлисе.

Незадолго до моего отъезда из Закавказья я имел удовольствие узнать, что Абовян назначен директором окружной школы своего родного города — Эривани. При его исключительных знаниях и добродетелях, при столь благородных стремлениях его даровать все свои силы на образование юношества своей родины, при такой горячей любви к родине, при глубокой преданности к своим благодетелям, давшим ему возможность получить образование, этот превосходный и к тому же невзыскательный человек сумеет включить в круг своей деятельности подлинные интересы страны.

Даже теперь, при его изрядно ограниченных обстоятельствах, за этим храбрым сеятелем не стоит дело распространения культуры и добродетели между юношами своего родного города: он сеет много хороших семян с хорошими надеждами на отличный успех».

Мориц Вагнер не знал подоплеку назначения Абовяна в Эривань. Не знал, следовательно, сколько препятствий станет на его пути в «родном городе», но хорошо выразил свое отношение к Абовяну: он неплохо узнал Абовяна в течение двух-трех месяцев, пока они ездили по Армении.

Маршрут, избранный Вагнером, давал ему возможность изучить всю Армению и одновременно подробно ознакомиться с араратским извержением. Они проехали, выехав из Тифлиса в мае, через Ахту, Севан, Эривань, Эчмиадзин, Кара-Су, что у подошвы Арарата, склоны Арарата, обратно на Абаран, Гюмри, Амамлу, Джалал-Оглы и в конце июля вернулись в Тифлис.

Только в самом конце своего путешествия, подведя итоги своим наблюдениям, Вагнер, по-видимому, заметил то, что являлось наиболее горестным в жизни Абовяна — его глубокое одиночество. Вскользь, рассказывая о нравах и семейных отношениях армян, Вагнер пишет:

«Замечательно, как это чувство крайней робости и стыдливости при лицах высокого ранга, хотя бы даже родственников, не может быть преодолено. Абовян, с тех пор, как он получил образование в Дерпте и получил чин русского чиновника, стал чужим собственной семье и как он ни старался восстановить с матерью и братьями прежнее доверие и сердечность, это ему не удавалось. Они обращались с ним с почтением, с настоящей благоговейной пугливостью, которые не могли быть побеждены даже любовным товарищеским обращением с его стороны. Брат Абовяна женился во время его отъезда. Когда Абовян после долгой отлучки вернулся в отчий дом и сердечно приветствовал невестку, та пораженная, убежала

в угол и закрыла лицо. Никакие товарищеские укоризны, никакие сердечные уговоры не помогали. Даже собственная мать Абовяна чуждалась показаться с непокрытым лицом перед своим сыном, одетым в русскую униформу. В своем отчем доме Абовян стал знатным чужестранцем, которого кое-что лишь соединяло с родственниками, ибо они его формально признавали, как сына, как брата, но это было далеко от бесконечной теплоты в отношениях».

Вот он, последний штрих, дорисовывающий картину общего одиночества Абовяна. Эту трагическую отчужденность от семьи позже заметил и Гакстгаузен:

«С Абовяном домашние едва поздоровались, не было ни пожатия руки, ни объятий, ни громкой радости при его возвращении, но за всем этим младшие его братья показывали ему величайшее наружное уважение, в присутствии его стояли всегда с непокрытой головой, держа шапки свои в руках, не садились даже тогда, когда он их приглашал к тому. Невестки его прислуживали ему, как горничные, когда он раздевался или одевался и были постоянно готовы угадывать по лицу все его желания».

Они его не считали своим близким, он для них был — государственный чиновник. То, что Гакстгаузен принял за знак давления традиций, было признаком глубочайшего отчуждения. Вагнер прав. Он чувствовал себя в отчем доме чужестранцем.

После отъезда Вагнера связь между ними не прервалась. Абовян послал ему через несколько лет исследование о курдах, о чем сам Вагнер рассказывает в другой своей книге.

«Несколько лет спустя после моего возвращения из Передней Азии я получил, благодаря доброте моего друга Абовяна, директора окружного училища Эривани, который является хорошим наблюдателем и знатоком Востока, также основательно владеет многими азиатскими языками — весьма интересную этнографическую работу о некоторых народностях Западной Азии, именно о курдах, которых он имел случай изучать как в русской Армении, так и в Персии и в баязетском пашалыке (губернаторстве) на протяжении многих лет. Рукопись г. Абовяна о нравах, чертах характера, условиях жизни курдов заключает в себе вместе с тем обстоятельные замечания о езидах, во многих пунктах смешано живущих с ними. Она была предоставлена мне в свободное пользование и легла в основу настоящих очерков».

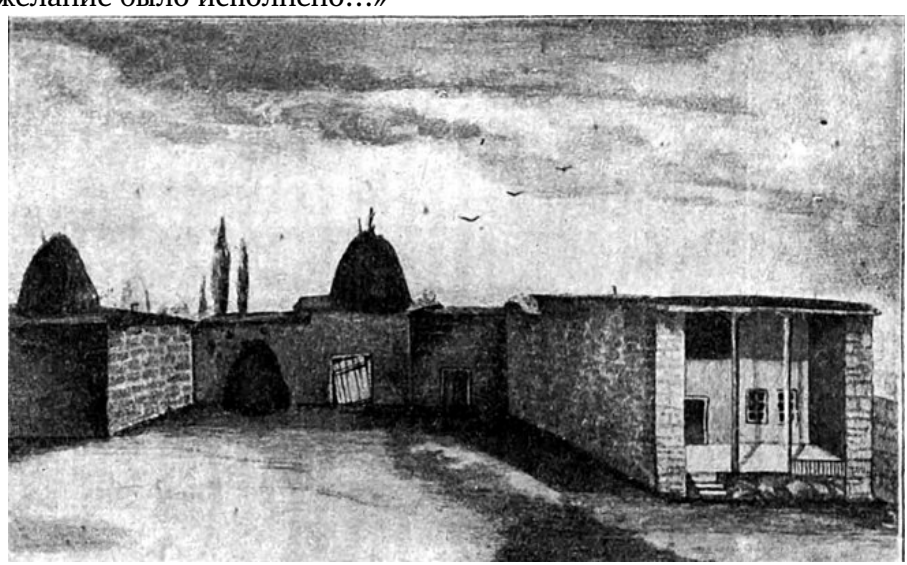
В приложении к своей книге о путешествии по Персии Вагнер дает две статьи о курдах и езидах, написанных, главным образом, на основе материалов Абовяна. Я сравнил обе статьи со статьями Абовяна, напечатанными в газете «Кавказ» Они во многом

совпадают, но имеются и значительные отступления. Не все они принадлежат Вагнеру. Последний приводит цитаты, которых в русской статье Абовяна нет. Это дает мне право предполагать, что русская статья — лишь часть того, что Абовян послал Вагнеру. Очень интересны страницы статьи Вагнера, где он возвращается к Абовяну, вынужденный сделать ссылку. Каждая такая ссылка служит поводом Вагнеру для расширения характеристики Абовяна. Я приведу некоторые из этих ссылок, чтобы читателю было ясно то колоссальное впечатление, которое Абовян произвел на ученого путешественника.

«Абовян, который обследовал географические и исторические труды и рукописи монастырской библиотеки Эчмиадзина и Эривани, нашел, что по господствующему мнению армянских писателей, курды — смешанный народ из остатков старых мидян и осколков племен, образовавшихся после развала арабского халифата».

«…Абовян, который много лет близко наблюдал курдов и собрал очень много черт их образа жизни и понятий через своих соотечественников, в быту непрерывно общающихся с курдами, начертал их образ, в целом вовсе не не благоприятный…».

«…Когда я оставлял русскую Армению, я попросил моего друга Абовяна, директора окружной школы в Эривани, который при огромном знании азиатских языков и живя близ Аракса, занимал более благоприятное положение, чем какие-нибудь британские путешественники, отыскивающие проездом езидов где-нибудь в Курдистане или Синджаре, прислать мне собранные им ценные сведения о религии, нравах, привычках этих народов, их обычаях. Не прошло и пяти лет с моего возвращения, как мое желание было исполнено…»



Дом в Канакере, где родился Абовян. Рисунок 80 — 90-х годов

«…При исследовании происхождения езидов по армянским историческим трудам и рукописям, Абовян пришел к собственному решению вопроса… отличному от выводов Гаммера, Нибура, Равлинсона и других ориенталистов».

Я не могу в этой связи не задержать внимание читателя на уже упомянутых русских статьях Абовяна о курдах. Вагнер превосходно заметил их общий дух. Он сопоставлял их со статьями английских миссионеров и путешественников, наблюдавших страны и народы на ходу, выносящих приговоры на основе разных оплетен. Мы можем сравнивать их с бесчисленными дикими выдумками национал-каннибалов.

Против человеконенавистнической клеветы последних Абошш дает беспристрастную и компетентную картину жизни народа, обнаруживая такую национальную терпимость, которая вызывает восхищение и сегодня. Она превосходна и общим духом жизни, и замечательной осведомленностью, и безусловными литературными достоинствами.

По примеру немцев путешественников, он все описанное перекрестно проверял, прочитывая, курдским своим знакомым — сыновьям предводителя Сулеймана-аги, сыновьям Гусейна-ага, которые перешли границу и жили в Армении. Спор может вызвать лишь исторический обзор и разыскания о происхождении курдов по армянским источникам. Но и те, как убедился читатель, показались М. Вагнеру заслуживающими внимания. Но если так значительно научное значение статей, то для биографии и понимания взглядов Абовяна, его личности — они незаменимы.

Положительно нельзя понять Абовяна, упуская, например, такие его мысли о народной поэзии курдов и армян: «Народная поэзия курдов проделала изумительные шаги и достигла возможного совершенства. Каждый курд, даже каждая курдянка — врожденные поэты в душе. Все они обладают удивительным даром импровизации, но смешно было бы требовать от кочевого народа стройных поэтических созданий, изящных картин и риторических украшений речи. Они воспевают очень просто и незамысловато свои долины, горы, водопады, ручьи, цветы, оружие, коней, великие подвиги, своих красавиц и их прелесть, — все, доступное их чувствам и понятиям, прикрашивают сравнениями и стараются еще живее передать все это мелодичным пением, конечно, оскорбляющим немного слух европейца, но драгоценным, как выражение их духовной жизни и образа мысли чрезвычайно оригинального народа, привыкшего предпочитать свой просяной чурек всем утонченным лакомствам могущественных и просвещенных европейцев. Упоминать ли о

том, что эти песни также способствуют более или менее смягчению нравов полудиких горцев и поддерживают в них любовь к отчизне».

К этой мысли Абовян делает сноску:

«К сожалению, я должен здесь заметить, что армяне, мои соотечественники, в этом отношении далеко отстали от курдов, невзирая на то, что они воспользовались плодами просвещения и, следовательно, могут похвалиться большим развитием духовной жизни перед всеми азиатскими народами, в особенности, своими соседями. У нас нет народной поэзии, потому что все наши народные песни и сказания были сочинены и теперь сочиняются на татарском языке. Поэтические произведения этих азиатских трубадуров действительно заслуживают особенного внимания и удовлетворяют требованиям самой строгой критики, но никто еще их не записывал и, как все рапсодии и изустные предания, они с каждым годом подвергаются все более и более забвению. Какое сокровище мог бы извлечь из них изучающий народные обычаи, поверья и сказания, если бы какой-нибудь ученый, не жалея ни издержек, ни труда, необходимого для собрания этих драгоценных материалов, пострaнствовал бы по этому краю».

Заветная мечта Абовяна, которая так и осталась невыполненной им!

Армянская националистическая публицистика охотно и пространно рассуждала о борьбе Абовяна за народный язык, но могла ли она понять всю широту постановки вопроса Абовяном, пренебрежительно третируя эту статью, проникнутую глубоким уважением к творческой силе и таланту соседних народов?

Я говорил выше о великолепной терпимости, какою проникнута вся статья. Среди работ, посвященных курдам, статья Абовяна положительно единственная по тому уважению, с каким автор подходит к изучению нравов и обычаев столь сохранившегося в его время первобытного народа.

«Трудно найти в настоящее время между народами всего земного шара столь патриархальную жизнь со всеми ее добродетелями и недостатками, преимуществами и невыгодами, как жизнь курдов, нисколько не изменившуюся столетиями».

Смесь этих добродетелей и пороков Абовян характеризует точно:

«Курдов можно было бы назвать рыцарями Востока в полном смысле слова, если бы они вели жизнь более оседлую. Воинственность, прямодушие, честность и беспредельная преданность своим князьям, строгое исполнение данного слова и гостеприимство, месть за кровь и родовая вражда, даже между ближайшими родственниками, страсть к грабежу и разбою и

безграничное уважение к женщине — вот, добродетели и качества, общие всему народу».

А вот как он описывает внешний облик курда:

«Курда можно отличить с первого взгляда и по мужественной, важной и полной выразительности — осанке, наводящей в то же время невольный страх, по его гигантскому росту, широкой груди, богатырским плечам. Кроме того, отличительные черты курда: сутуловатость, цвет лица, как у кафра, большие огненные глаза, густые брови, высокий лоб, длинный согнутый орлиный нос, твердая походка, словом, все принадлежности древних героев».

Нетрудно понять, почему в разгаре националистического каннибализма банкир Джамогаров, предприняв издание сочинений Абовяна, обошел и эту великолепную статью его: банкир счел неудобным дать беспристрастную статью о курдах, он был заинтересован изображать дело так, будто армяне являются жертвой не феодальной отсталости Турции, а антагонизма наций, ненависти и «зверства» курдов.

Внимательное чтение этой статьи дает много на первый взгляд незначительных деталей, дополняющих скудную подробностями биографию Абовяна: «Во время моего путешествия по Курдистану, — рассказывает он, — меня окружила однажды толпа женщин разных возрастов с угрозами и криками за то, что я позволил себе дотронуться до покрывала девушки. В одно мгновение самые злые фурии — старухи обступили меня со всех сторон и вероятно растерзали бы на части, если бы не подоспели конвоировавшие меня казаки, вооруженные нагайками, приводящими в ужас самую отважную курдянку».

Присматриваясь к обычаям этих «детей природы», ученик Руссо искал проявления здоровой независимости и, разумеется, находил их в изрядном количестве и тем больше, чем подлее было иерархическое подхалимство, внедренное персами и культивируемое новыми хозяевами страны.

«Курдам вовсе неизвестны надутые, вообще неестественные, в высшей степени пошлые приветственные изречения, употребляемые почти у всех азиатских народов. Никогда не услышите вы от них этих льстивых татарских и персидских выражений, даже при встрече самого знатного гостя».

Изучая курдов, Абовян пристально изучал положение женщин, и в статье он дает много поводов думать, что при всяких обстоятельствах и со всех сторон он обдумывал проблему отношения к женщинам, вопрос о женском равноправии, как сказали бы русские люди сороковых и шестидесятых годов. Он

превосходно замечает и выразительно рассказывает про имеющееся в этом «первобытном» обществе социальное неравенство, которое всего острее сказывается на положении женщин, ибо основные работники семьи — женщины.

«Жены князей и старшин могут щеголять и одеваться с большим вкусом, ходят в дорогих шелковых платьях, украшают грудь и голову множеством драгоценных камней, золота, серебра, жемчуга и проводят обыкновенно весь день в бездействии, окруженные толпою невольников и невольниц. Напротив, жены простолюдинов исполняют все тягостные работы домашние и полевые. Они ткут, вяжут, шьют, рубят дрова, носят воду, навьючивают катеров, разбивают и складывают палатки, доят коров, делают сыр и масло, словом, не имеют ни минуты отдыха. Курдянка вечно занята, делает из шерсти прелестные ковры, одеяла, мешки, переметные сумы, и множество других мелочей, сама составляет краски для шерсти и притом всюду успевает, всегда весела и приветлива, гостеприимна и здорова, но редко можно встретить между ними красавиц». Они стареют рано под бременем тяжелого непосильного труда.

Вернемся, однако, к рассказу, прерванному нами.

Следующим ученым, который оставил нам обильные свидетельства о своих совместных с Абовяном экскурсиях, был Гакстгаузен.

Двадцать третьего августа 1843 года Гакстгаузен приехал в Эривань:

«Меня направили к г. Абовяну, директору вновь учрежденного учебного заведения, который жил в казенном доме, где я и нашел убежище».

Гакстгаузен следующими словами характеризует Абовяна: «Абовян был из тех благородных, рассудительных и правдивых людей, которых мы редко встречаем в жизни. Разгадав скоро, что я вообще с любовью стараюсь вникать в жизнь народов, он объяснял мне все с величайшей откровенностью и даже обращал на некоторые предметы особенное мое внимание. Так как он сам прожил четыре года среди немцев в Дерпте, то для него сами собой стали ясны как сходственные, так и противоположные черты обоих народов. Мне стоило только задать ему один вопрос, задеть за живое, и в нем мгновенно пробуждались мысли и воспоминания, которые тотчас сообщал мне. При всем этом Абовян был преисполнен пламенного патриотизма к своей родине»…

Первый день Гакстгаузен посвятил осмотру города и оросительной системы, а Абовяну приходилось исполнять роль переводчика.

«25 августа рано утром я посетил вместе с Абовяном церковь, лежащую на самом возвышенном месте Эривани, и находящийся при ней монастырь. С этого места открывается очаровательный вид, средоточие которого — Арарат. Я провел там с Абовяном все время до самого вечера и приобрел от него в этот и следующий день богатые сведения об образе жизни, нравах, особенных качествах и наклонностях армянского народа. В результате я мог уразуметь внутреннюю его жизнь гораздо яснее, нежели когда бы прожил между ними целые месяцы».

Гакстгаузен ездил с определенными заданиями, он искал материала для характеристики «обычаев, нравов, образа жизни, общественных и семейных отношений», собирал народные сказания, песни и предания. Для него было крайне важно не столько количество увиденного, сколько проникновение в самую природу отношений и самое доскональное изучение определенного и типичного объекта. Таким типичным объектом Абовян избрал Канакер, куда он и провел Гакстгаузена.

«Мы ехали верхом к родительскому дому Абовяна. Дом этот стоял свободнее прочих, при нем был обширный сад с красивыми и превосходного качества плодовыми деревьями, садовыми растениями и виноградными лозами… Подъехав к дому, мы сошли с лошадей и Абовян провел нас в сад… В то время, как мы пробирались между виноградниками, перед нами мелькнули две женщины, которые однако ж тотчас убежали, подобно испуганным сернам. При входе в дом нас встретили дядя и братья Абовяна и проводили на другой двор к двоюродному их брату, где мы расположились совершенно по-домашнему и несколько подкрепили себя. Потом пошли по всей деревне с целью подробного обозрения».

Ознакомившись с деревней и подробно описав ее, Гакстгаузен вернулся к Абовяиу, дом которого он описывает следующими словами:

«При входе в фамильный дом Абовяна находилась открытая зала, называемая у армян эйваном, в этой комнате в летнее время живет все семейство, рядом с левой стороны находилась зимняя комната, оттаг. Здесь разводится огонь в холодное время на голой земле, очага вовсе не существует, а дым проходит в небольшое отверстие, прорубленное в крыше. В одном углу и сверху находились два маленьких окошка. Стены, как наружные, так и внутренние — каменные, в которых везде, и сверху и снизу, приделаны и устроены нищи, куда обыкновенно ставятся всякого рода вещи. На стенах висели две персидские картины, изображавшие геройские подвиги Рустема, кроме того висело там небольшое зеркало, обличавшее, что европейская роскошь мало-

помалу начала к ним прокрадываться. В остальной части дома находится женская половина, которую, однако ж, я не видел». С правой стороны — погреб, рядом — небольшой хлебный амбар, пекарня, сенник, и, наконец, скотный двор, на котором возвышается особое отделение, окруженное галереей и называемое сакю».

Гакстгаузен, с истинно немецкой аккуратностью описывая внешнюю видимость явлений, был бы совершенно бессилен их истолковать, если бы не Абовян. Он не только рассказывал и подробно объяснял смысл происходящего, но передал также Гакстгаузену ценнейшие письменные материалы, коими немецкий исследователь воспользовался весьма обильно.

«Абовян составил в Дерите записки из своих юношеских воспоминаний, заключающие в себе много любопытного касательно жизни армянского народа. Он подарил их мне, с тем, чтобы я ими воспользовался, как хотел».

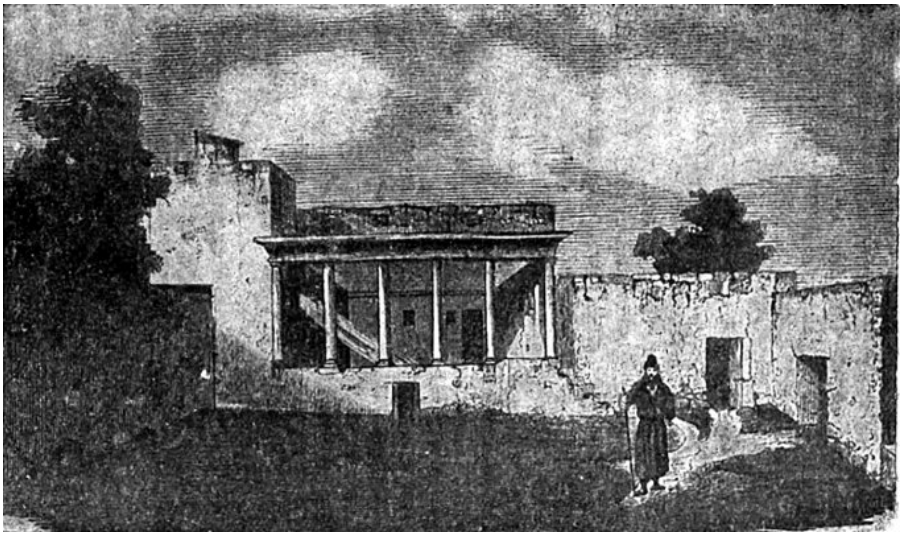
Сохранились ли эти записки в бумагах Гакстгаузена — трудно проверить, но если судить по тем отрывкам, которые приводит путешественник в своей книге, это были воспоминания Абовяна о раннем своем детстве, целые страницы которого он воспроизвел в своем романе.

«Был уже вечер, когда мы, побродив с Абовяном по деревне и по окрестностям, вернулись к нему домой.»

Утром следующего дня Абовян с Гакстгаузеном и спутником последнего и со своим дядей отправились к езидам и вернулись вновь в Канакер. 27 августа посетили эриванскую крепость, магометанскую мечеть, а после обеда отправились в Эчмиадзин. За эти дни Абовян расказывает Гакстгаузену почти всю историю Армении, ее литературы, ее церкви. Гакстгаузен был поражен не только количеством знаний Абовяна, но и научной подготовкой и добросовестностью его.

Он, вероятно, не мало убеждал Абовяна заняться изучением народного творчества, отзвуками этих увещаний является обращение Гакстгаузена к Абовяну на страницах своей книги (изданной позже).

«Приглашаю г. Абовяна употребить отличный свой талант и выгоды (!! — В. В.) общественного его положения на собрание и обнародование всего того, что сохранилось из народных песен, сказок и преданий, чтобы этим поощрять и других к важным этим исследованиям».



Приглашение до Абовяна не дошло. Не успело. 29 августа Гакстгаузен уехал в Тифлис.

С Боденштедтом Абовян был знаком еще с Тифлиса. Вероятнее всего их свел Мирза-Шаффи, который, будучи знаком с Абовяном, был приглашен Боденштедтом к себе в преподаватели.

Отношения этих двух людей представляют огромный интерес, но при нынешнем состоянии публикации материалов архива Абовяна, как и других материалов, высказывать какие-либо суждения было бы рискованно. Из единственной нам известной фразы, сказанной Мирза-Шаффи об Абовяне, можно сделать одно заключение: Мирза-Шаффи относился с большим уважением к Абовяну.

Как бы то ни было, когда Боденштедт в марте 1844 года приехал в Армению, он тут же разыскал Абовяна,

«Слегка позавтракав, разыскали Абовяна, спутника Паррота при восхождении на Арарат. Абовян — талантливый армянин, который, получив образование в Дерпте и основательно изучив языки немецкий и французский, вернулся на родину, где с изумительной энергией трудится над развитием своего отечества. Он собрал у себя 20–30 учеников, говорит с ними по-немецки и его ученики сделали такие успехи, что мы свободно говорили с ними на нашем родном языке. Абовян оказался добрым предводителем для нас».

Осмотрев Эривань и ее достопримечательности, побыв в Эчмиадзине и познакомившись с монастырским книгохранилищем, Боденштедт вернулся в Тифлис, договорившись получить от Абовяна собранные им народные песни с подстрочным переводом. Боденштедт пишет:

«Я надеялся получить через моих друзей сборник армянских и персидских песен. Главным образом Абовяну я обязан тем, что надежды мои не были обмануты, ибо, не будучи знаком с народным армянским языком, я вынужден был бы ограничить сборник несколькими татарскими и персидскими песнями, если бы Абовян не взялся составить собрание народных песен всего эриванского сардарства. По возвращении в Европу я тотчас получил от Абовяна собственноручно им написанную и по-немецки переложенную тетрадь, где он обещает еще несколько дослать».

Боденштедт неоднократно письмами просил следующие тетради, однако Абовян, по-видимому, писем не получил либо, получив, не в состоянии был отвечать. Боденштедт нашел его в материальной нужде, которая вовсе не обнаруживала тенденции к смягчению.

«Когда я с ним познакомился, — вспоминает Боденштедт, — он был в крайней нужде и обезнадежен, как из-за отсутствия средств существования, так и вследствие равнодушия к его беззаветной деятельности. В своем последнем письме Абовян мне писал, что решил бросить государственную службу, уйти в глубь Армении и там подобно дедам жить земледелием, ибо его незначительные доходы не удовлетворяют потребностям, порождаемым городом, а ожидание улучшения его участи в дальнейшем вовлечет в еще большую бедность. Решение это было продиктовано неудачами. Часто он впадал в денежные затруднения, что стало под конец для него источником бесконечных страданий».

Мирза-Шаффи говорил об Абовяне: «Абовян — первый армянин, который не похож на армянина». «Он был очень честен и обычные пути обогащения были ему недоступны», — заключает свой рассказ Боденштедт.

И еще раз он вернулся к Абовяну, когда писал свои воспоминания. Это было спустя почти три десятка лет, тем не менее он вспоминает Абовяна тепло и с большим уважением к его памяти:

«Оказалось возможным наверстать кое-где из упущенного и приступить к новому. Оттуда мы привезли с собой не только озноб и ревматизм, но и множество рукописей, из которых сборником армянских и татарских народных песен обязан прекрасному Абовяну, о котором я и здесь должен сказать несколько слов». Рассказав историю отъезда Абовяна в Дерпт, Боденштедт продолжает:

«По окончании учения он возвращается на родину, где до своей ранней смерти с достойным удивления рвением действовал

на пользу образования и просвещения своих соотечественников… Многие его ученики позже учились в Германии и по возвращении домой действовали далее в духе Абовяна»[18]…

Никто из западных путешественников не был так близок к кругам великодержавных колонизаторов, как Боденштедт. Никто лучше его не знал неуклонно проводимую политику ассимиляции, едва прикрытую фразами, потому что Боденштедт вращался в кругу высшего чиновничества. В этом мире он считался своим человеком.

Поэтому никто лучше него и не смог видеть политические причины неудач Абовяна. Ведь все просветительские попытки последнего подавлялись Россией в корне.

Приведя слова некого генерала С., который сказал: «Если армяне хотят учиться — пусть учатся по-русски, если хотят молиться — пусть молятся по-русски», — Боденштедт добавляет: «Ясно, что Абовян несмотря на свои способности и покладистый характер не мог осуществить свои мечты в России».

Не мог, это ясно! Силами одного человека, даже одного народа такие вопросы не решаются.

Менее всего нам известно об отношении к Абовяну другого ученого — академика Абиха, который в первый раз приехал в Армению, будучи профессором дерптского университета, весной 1844 года. Абовяна ему рекомендовал Нерсес, который тогда находился в Петербурге. Абовян с большой готовностью принял предложение и ездил с Абихом около шести месяцев. Был с ним в районе курдов, объездил Баязетский пашалык, был в Ани, где Абих сделал известные съемки развалин, в сентябре были они на Арарате и дважды безуспешно пытались подняться на вершину. Для Абовяна эта поездка была очень плодотворной, ибо расширила круг его наблюдений и дала возможность собрать богатый материал о курдах.

По возвращении Абих застал статью М. Вагнера в «Allgemeine Deutsche Zeitung·», с обвинением Российской Академии в том, что она не предприняла своевременного изучения извержения Арарата и удовлетворилась докладом некомпетентного Воскобойникова. Письмо Абиха Гумбольту с изложением результатов своего первого восхождения на Арарат и дискуссией с Вагнером было наиобширным докладом об этой длительной лоездке. Но в нем Абих об Абовяне говорит глухо, не упоминая даже его фамилии. Вторично Абих предпринял подъем на Арарат в 1845 году. 29 июля он удачно поднялся на восточную вершину Арарата, на этот раз без Абовяна. Но в отчете об этом подъеме он параллельно рассказывает о прошлогодней своей неудаче. По этим косвенным рассказам мы и должны восстановить картину,

поскольку ни Абовян, ни Абих не оставили нам прямых описаний.

Абих свою неудачу 1844 года и удачу следующего объясняет тем, что в первый раз было избрано наименее удачное время года, когда метеорологические условия исключают возможность такого предприятия. «Совершенная правильность атмосферных изменений, как на самом Арарате, так и на всем протяжении Армянской возвышенности… позволяет нам в точности определить время года, в которое желаемая погода обыкновенно устанавливается». Это — начало августа.

«Незнание этих особенностей тамошнего климата было единственной причиной, почему три попытки мои в 1844 году взойти на вершину Арарата были так безуспешны. Пропустив удобное время, я предпринял это путешествие в конце августа и начале сентября, т. е. в пору наибольшего непостоянства погоды и всякий раз с большою опасностью для жизни должен был отказаться от своего намерения.»

«Очаровательные окрестности Сардар-Булага, имеющего 7060 парижских футов возвышения над уровнем океана, богатые травой и топливом, служили мне удобным лагерем при поездках моих на Арарат (1844 г.). Отсюда исследовал я гору в разных направлениях четырнадцать дней сряду и отсюда же 14 и 25 августа того года сделаны были мною две неудачные попытки взойти на Большой Арарат».

«На высоте 13256 футов… после чистого и прекрасного заката солнца пополуночи началась сильная буря со снеговою метелью…

В четыре часа пополудни 19 августа 1844 года караван достиг 14522 фута. Но тут внезапно набежавшая гроза с градом остановила мою первую попытку взойти на вершину Арарата». Следуя этому маршруту в 1845 году, Абих нашел «крест, укрепленный между скалами, в тот неудачный раз слугою Абиха с надписью «18/VIII 1844 г.».

Об условиях, при которых потерпела неудачу попытка 25 сентября, он ничего не вспоминает.

Рассказом этим Абих как будто выражал недовольство Абовяном. Но неизвестно, настраивал ли Абовян на том, чтобы подъем происходил в сентябре, а во-вторых Абовян имел право судить по своему прошлому опыту, а в 1829 году Паррот, как известно, взошел на вершину 27 сентября. Было мнение, будто Абих чем-то обидел память друга Абовяна и тем вызвал недовольство последнего. Это неверно. Как раз о Парроте Абих говорит с большим пиететом и уважением.

29 июля 1845 года Абих достиг восточной вершины Арарата и там вспомнил Паррота:

«Я не прежде приступил к спуску, как выпив последнее оставшееся у нас вино за здоровье (Паррот умер в 1842 году — В. В.) того, кто 16 лет перед тем был вполне вознагражден успехом за удивительную твердость свою… Паррот взошел на Арарат с его опасной и малодоступной стороны, к тому же обстоятельства заставили его совершить это путешествие в неблагоприятное время года, а потому, сравнивая свое безопасное и беспрепятственное восхождение с трудами, побежденными моим предшественником, я должен отдать пальму первенства его твердости и духу».

Таким образом, если недовольства были, то не потому, что Абих не обнаружил должного уважения к Парроту, а, полагаю, потому, что Абих, в отличие от прочих европейских путешественников, был великодержавно настроенный сухой, педантичный чиновник, который не обнаруживал никакого интереса к живым людям, их запросам и горестям, предпочитая иметь дело с камнями и руинами. Он относился к Абовяну с высокомерием действительного статского советника, которому какой-то коллежский асессор обязан дать все сведения, и ни разу не потрудился отметить ни участие, ни помощь Абовяна в изысканиях.

Последняя схватка с церковной тьмой и духовной инквизицией

1843 году католикосом армян был избран Нерсес. Этот факт Абовян воспринял с острым интересом. У него появились надежды. Он устал от преследований, от неудачи, у него вновь возродились иллюзии, что можно быть полезным народу, сидя за монастырским рвом. Но вероятно Абовян не рискнул бы очень много надежд возложить на этого достаточно ему известного хитрейшего ханжу, если бы Нерсес сам первый не написал ему 25 января 1844 года письмо с просьбой сопровождать Абиха в его путешествии по Армении. Этот жест Нерсеса Абовян расценил как особое расположение к себе, поэтому, когда ему стало невыносимо тяжело в 1845 году, Абовян написал ему свое знаменитое трагическое письмо.

В мировой эпистолярной литературе немного найдется таких памятников. Это — вопль исстрадавшейся души, это — тяжелая пощечина церкви, это — обвинительный акт против общества, но одновременно это — декларация демократических принципов, защиту которых прокламирует Абовян.

«Пятнадцать лет тому назад, — пишет Абовян, — отправился я в Европу с теми побуждениями и надеждами, что со временем буду полезен народу и отечеству моему. Окончив учение, поспешил вернуться, и что же? Полтора года по возвращении моем из Европы оставался в Тифлисе без куска хлеба. Казенную службу мне предлагали в любую минуту, но я не желал оставить духовное звание». С своей стороны, духовенство не желало принять меня в свою среду. Даже ходатайство сенатора Ганна не помогло. Покойный (католикос Иоанн — В. В.), считая меня лютеранином, не уважил просьбу столь видного лица»… «Понуждаемый нуждою я поступил на казенную службу, которой вовсе не желал. Возбужденный враждой (преследованиями), я вступил в брак, неожиданный для меня».

Работая в уездной школе, он параллельно вел свою школу, учениками которой очень гордился. Из них некоторые учились в Москве и Петербурге, «где среди многих учащихся мои ученики высоко держат голову над всеми». Слава о них не могла не дойти до Нерсеса. И не только столичные, не менее прославлены его тифлисские ученики. «Но и здесь зависть и злая воля моих сослуживцев насильно лишили меня моих учеников и сделались причиной того, что я оставил Тифлис и удалился сюда, где нахожусь теперь со скорбной душой и при последнем отчаянии. Я

говорю не о личном существовании и не о славе, которые имею, а о том, что дни мои проходят бесполезно, желания мои умирают, я вижу несчастную судьбу родины моей, я не имею средств и возможностей помочь ей, — а это и была первая и последняя цель моего существования».

Годы проходят, лучшая пора творчества уходит, сам он чувствует, что это болото душит его мысль, чувствует себя бессильным осуществить то, что считает целью своей жизни…

Есть отчего прийти в отчаяние.

И Абовян с отчаяния решил «уехать навсегда отсюда в Россию или в Германию», однако обстоятельства препятствуют ему. В письме одним из этих обстоятельств он выставляет надежды, которые у него возродились в связи с выборами Нерсеса.

Он просит Нерсеса принять его вновь в духовное сословие и восстановить в монашестве, надеясь таким образом осуществить свою мечту о новой духовной конгрегации. Поэтому, только поэтому он хочет бросить семью. Национал-демократы очень хотели истолковать это его заявление как бегство от иноплеменной жены. Так видимо понял его Назарян. В письме, приблизительно того же времени (от 10 ноября 1845 года) он отвечает Абовяну, который в письме к нему жаловался на одиночество своей жены, лишенной не только культурного общества, но и общества немецкого.

«Жена твоя безутешна, говоришь ты, вследствие отсутствия там немецких друзей или немецких семей. Так же как и моя недовольна окружением своим, хотя в Казани и достаточно домов и семей профессоров. Но таковы особенности нравов этого гнезда, где мужчины часто отсутствуют и где приличие требует от уважающих себя женщин сидеть дома. Но как иначе? Жена должна весь свой мир находить в муже, с ним жить и действовать, как духовно, так и морально. Но возможно ли это когда у обоих нас жены иностранки, безучастны и невежественны во всем, что касается нашей национальности, нашей национальной жизни и мысли… мужественно говоришь ты. И вполне прав — и я и ты ошиблись, взяв в жены себе европейских девушек. Должен сказать, во-первых, что ни моя, ни твоя жена не могут быть названы европейками, ибо родились и учились в темном углу, в отчем доме и не узнали ничего».

Эту обывательскую либерально-националистическую филиппику Назарян заканчивает словами: «Кажется, ты одобряешь сказанное мною».

Конечно, нет!

Абовян вовсе не потому решил идти в монахи, что думал избавиться от жены и семьи, что убегал от иноплеменной

подруги. «Вступив в брак, я давно отказался от него не потому, что не люблю семью и детей, вовсе нет: жена моя, будучи немкой, может быть украшением всякого дома своей доброй нравственностью и благопристойностью, — а вследствие неизлечимой болезни сердца, которая и становится причиной моей смерти, подсекая и уничтожая всякие силы во мне. Весь мир мертв в глазах моих, ибо нет у меня иной жизни, чем благополучие моей родины».

Вот какова природа этой грусти, причина этой трагедии. Ни личной жизни, ни любви, ни счастья человек не может воспринять, занятый своей неудачей, сбитый с путей, обезнадеженный невозможностью работать на благо родине и народу.

На кого же он возлагал надежды?

На Нерсеса!

Чтобы узнать цену Нерсеса достаточно взглянуть на решение синода по делу Мариам, возбужденному Абовяном в этом же письме. Что Абовян придавал этому делу исключительное принципиальное значение, видно хотя бы из того, что он свое важнейшее письмо (выше нами подробно цитированное) открывает этим сообщением и просьбой.

Беспримерное «решение» Нерсеса по этому делу неминуемо должно было окончательно отрезвить Абовяиа, если бы даже других фактов и не было. «Не считаю неприличным, — начинает свою просьбу Абовян, — принести к стопам вашего преосвященства мольбы слуги вашего и несчастной, осиротевшей, одинокой женщины по имени Мариам из Канакера, которая уже пятнадцать лет мучается без родителей и без друзей, не получая помощи и свободы от человеколюбивого нашего духовенства».

«Человеколюбивого!» Достаточно в самых общих чертах познакомиться с делом, чтобы почувствовать сколько едкой иронии в этом слове.

Дело это заключается в следующем: одну канакерскую сиротку Мариам выдали насильно замуж за армянина-чужестранца. Девушка в первую же ночь убежала обратно к родным и заявила, что покончит жизнь самоубийством, если ее пошлют вновь к мужу. Духовные власти освободили от брачных уз мужа и тот вскоре женился, имел взрослых детей, а бедная сирота пятнадцать лет обивала пороги духовных лиц и учреждений и не могла получить права выйти замуж.

«Даже камни вопиют о невинности этой женщины», — убеждает Абовян и взывает к гуманности и к совести католикоса; кому же как не начальнику духовных варваров укротить зверство, чинимое синодом? «Надеюсь, спешно найдете возможность

приказать избавить ее от этого несправедливого насилия и дать свободу ей от бессовестных рук».

Александр Ерицян, который опубликовал этот документ, установил по делам синода, что «Нерсес не услышал просьбу Абовяна, решил — Мариам, как по своей воле вышедшую замуж и по своей же воле оставившую мужа, навсегда лишить права вновь бракосочетаться, а ее муж, невинный в этом деле, по распоряжению синода уже вступил в брак». Ерицян с оттенком гадкого двусмыслия и желая оправдать это инквизиторское решение палачей из синода говорит: «Рассказывают, что сам Абовян был в числе сочувствовавших Мариам и был причиной развода и вообще наш ученый господин имел очень неполное представление о брачных правилах других».

О, мудрый национал-клерикальный Дон Базилио, как ты подл!

Не потому, конечно, Абовян вмешался в дело Мариам, что был в ней заинтересован, — у нас нет никаких к тому оснований. Он развивал демократическую идею личного достоинства, идею равенства, идею эмансипации личности и совершенно естественно пришел к идее женской эмансипации. Разве возможно освобождение личности без равенства женщины и мужчины? Разве мыслимо личное достоинство там, где мужчина поставлен в такие исключительно привилегированные условия, как муж Мариам, а женщина порабощена до того, что безо всякой вины подвергается насильственному пожизненному воздержанию? Разве можно надеяться на возможность просвещения от учреждения, способного узаконить такой нечеловеческий порядок? Абовян еще в университете мечтал видеть женщин своего народа эмансипированными хотя бы до степени тех немок, которых он наблюдал в Дерпте. Каково же было его разочарование, когда он даже элементарных человеческих прав для одной женщины не мог вырвать из хищных лап церковных коршунов.

Этому заступничеству Абовяна я придаю принципиальное значение, тем большее, что в этом вопросе Абовян оказался на удивительно близком расстоянии от магистрального пути русской революционной литературы. Почти одновременно Абовян в Эривани, а Герцен, Белинский, Огарев и другие — в Москве и Петербурге были заняты размышлениями о судьбах женского равноправия. Письмо Абовяна было написано Нерсесу в середине года, а в ноябре появилась первая часть романа Герцена «Кто виноват». Герцен решает проблему, широко пользуясь опытом мирового социалистического движения, испытывая на себе влияние утопических построений Сан-Симона и Фурье. Абовян

далек от культурных центров, обреченный на одиночество, он сам додумывает и логически развивает демократические идеи, поэтому его решение локально, еще не обобщено, еще не оплодотворено европейской мыслью.

Тем не менее это единовременное обращение к проблеме женского равноправия поразительно.

И не могло быть в глазах Абовяна ничего более позорящего Нерсеса, чем его решение по этому делу. Нерсес одним росчерком пера обнажил весь бесстыдный агрессивный обскурантизм церковной схоластики. Абовян очнулся, всякие иллюзии отлетели, он принялся еще энергичнее за занятия со своими учениками.

С Нерсесом у него было еще одно столкновение, которое менее принципиально, но не менее решительно разоблачает этого двуличного лицемера.

Когда Нерсес проездом в Эчмиадзин приехал в Эривань, Абовян встретил его вместе со своими учениками, и на приеме ученики приветствовали Нерсеса речами[19]. Хитрый поп решил блеснуть просвещенностью и обещал группу учеников Абовяна послать в Европу усовершенствоваться. Абовян был охвачен понятным энтузиазмом, ждал с нетерпением и усердно готовил своих учеников к поездке.

Через несколько месяцев ученики не только овладели грамотой, но и свободно говорили на немецком языке. Абовян доложил об успехах своих учеников и просил назначить срок отправки. Нерсес отговорился перегруженностью.

Абовян, не ослабляя энергии, продолжал подготовку учеников. Прошло еще несколько месяцев. Дела у Нерсеса не кончались, но Абовян не терял надежды и ждал.

«Проходит почти год времени, — рассказывает Налбандян со слов Гегамяна, одного из учеников Абовяна, который был в числе ожидавших, — а Нерсес не выберет досуга решить их судьбу». Абовян, как человек с горячим и энергичным характером, видя неопределенное состояние своих учеников решается ехать в Эчмиадзин, чтобы выслушать решительное слово католикоса. Но какое несчастье для нации — католикос не имеет времени думать о просвещении нации, его рука не устает писать собственноручные распоряжения разным иереям по разным приходским делам, преосвященный отец не имеет времени обращать внимание на пользу армянского народа, на дело умственного развития его дорогих детей» — так издевается Налбандян над героем армянских национал-каннибалов.

«Не имел времени»? Чем же был занят этот вождь бездельников? Склокой. Он занимался сведением мелких счетов

со своими подчиненными. Когда Абовян пришел к нему — склока была в полном

разгаре.

«Абовян до села Паракар (это на полпути между Эриванью и Эчмиадзином — В. В.) имел еще в душе какую-то надежду, но чем ближе он подъезжал к монастырю, тем усиливались сомнения в нем, его душа предвещала неудачу».

Еще бы!

Рассказ Гегамяна в передаче Налбандяна так разительно напоминает рассказ Боденштедта, что приобретает значение биографического факта первостепенной важности для понимания Абовяна. Должно быть Абовян физически чувствовал мрак и варварство, приближаясь к стенам монастыря.

В этих стенах добру не бывать!

«На этот раз католикос его принял весьма холодно, как никогда раньше. На вопрос Абовяна: «Ваше преосвященство, какова ваша воля насчет учеников, которые ждут отправления»? — католикос отвечает «Благословенный, какой ты беспокойный, скажи тебе что-нибудь, так ты и не отстанешь».

Эти печальные и загадочные слова католикоса разрушили и разрыли фундамент всех надежд Абовяна, а руины промылись потоком народолюбивых слез этой чистой души. «Учитель, какие вести?» — встретили его ученики. Ответом на этот душераздирающий вопрос невинных отроков были печальное лицо и слезы, блестевшие на глазах Абовяна. Этот день был днем траура и для учеников, и для учителя. Со следующего дня уже обучение принимает иное направление. «По-русски, по-русски учитесь, дети», — говорил после того Абовян, — сами вы должны прокладывать себе путь». Не только Налбандян, но и Назарян знал, какую роковую преступную роль сыграл Нерсес в жизни Абовяна последних лет: «…скажу яснее: горестно, что такой человек, как католикос Нерсес, не захотел создать такие условия для Абовяна, которые позволили бы последнему всем своим существом отдаться делу народного блага. Благородный Абовян, перекидываемый из Тифлиса в Эривань, из Эривани в Тифлис, среди бесконечных преследований и неприязни предается мрачному отчаянию…»

Иллюзии не выдерживают суровой критики действительности.

Еще раз на Арарат

Абих был испытанием для Абовяна. Ведь на его счастье все предыдущие ученые, с которыми его столкнула судьба, были люди из Европы. Они не были причастны к русской чиновной иерархии, не были связаны растленным крепостническим пренебрежением к человеку. Абих был первый путешественник и ученый, который ко всему был еще и действительным статским советником. Он относился с грубым невниманием к своим товарищам по экспедиции, был заражен той истинно прусской наглостью, по которой уважать можно только немца, вынужденно — русского дворянина и чиновника, а все прочие — не люди или люди второго сорта, созданные для того, чтобы доставить «благородным» прусским дегенератам чины, готовую славу и богатство.

Поэтому Абих не считает нужным публично рассказать, как, с кем, при чьей помощи собран им материал, которым он так блистал перед научным миром.

Шесть месяцев Абовян сотрудничал с этим цеховым ученым, проделал колоссальную работу по собиранию материалов, по проведению изысканий, а в результате даже не получил элементарной благодарности.

После Абиха Абовян стал осторожен и не очень был расположен сопровождать каждого приезжего по стране. Поэтому он с большой неохотой согласился и на поездку с Сеймуром, которого направил к Абовяну несомненно Боденштедт.

Кто такой Сеймур? Что ему было нужно в Армении? Чего он искал на Арарате?

«Генри Дембри Сеймур — отпрыск одной из аристократических фамилий Англии — нашел готовым то счастливое положение, при котором человек имеет возможность развертываться по своим способностям и по собственному плану. Прямо с университетской скамьи он пустился путешествовать, чтобы собственными глазами изучать мир», — так говорит о нем Боденштедт.

Это — барин, который прибыл в Тифлис в 1845 году из Индии через Персию, хотел гостить у Воронцова в Одессе, но задержался тут в ожидании Воронцова, отозванного из Одессы и назначенного на Кавказ наместником.

Чтобы изучить жизнь и нравы Востока, он нанял себе одного слугу перса, одного турка, одного грузина, не считая своего постоянного слуги англичанина.

Вот этот любимец генеральш и близкий знакомый

Боденштедта и вздумал обязательно взойти на вершину Арарата, чтобы оттуда написать письмо жене Воронцова и своим английским родственникам…

Намерения его Абовяну не были известны, как не был известен и сам Сеймур. Но Боденштедт просил его и он не смог отказать, решив поездить с англичанином по склонам Арарата, тем более, что у него был трехдневный перерыв в школе.

Впрочем, лучше дадим слово самому Абовяну, пусть он раскажет о своем последнем восхождении на Арарат.

«Осенью прошлого года прибыл в г. Эривань, из дальнего путешествия по Востоку, англичанин Генри Денби Симур. Случайно познакомясь с ним, узнал я о намерении его посетить Эчмиадзин и побывать в окрестностях г. Арарата, чтобы лично обозреть те следы опустошения, которые сохранились после внезапного обвала, случившегося 20 июня 1840 года. Он пригласил и меня сопутствовать ему хотя до того места, где стоял прежде Аргури. Предполагая, что поездка наша не продолжится более трех дней, по случаю праздников, свободных для меня от служебных занятий, я охотно согласился на предложение благородного англичанина. Сборы наши были недолги. 1 сентября мы были уже в Эчмиад зине вместе с Симуром и поручиком И… В следующий день направились к Арарату, по обнаженной равнине реки Аракса, не встретив ничего замечательного.

Арарат во все это время стоял в полном своем блеске и величии, лишь изредка закрываясь набегавшими облаками. Любуясь прекрасным видом св. горы, спутники мои с восторгом говорили о счастьи побывать на ее вершине, но скрывали от меня настоящее намерение непременно взойти на Арарат. Такое желание казалось для меня тем более странным, что эти господа еще не знали каких трудностей, приготовлений, усилий и самопожертвования стоило ученым мужам это путешествие, в особенности Парроту и Абиху. Дело однако скоро объяснилось.

15 сентября мы были уже близ Аралыхскаго поста в пятидесяти верстах от Эривани и в пятнадцати от Аргуринского завала. Решительное намерение г. Симура побывать на вершине Арарата — повергло меня в уныние. Продолжительная моя отлучка, позднее время года, совершенный недостаток в жизненных припасах, теплой одежде, инструментах и людях, известные мне опасности и трудности, сопряженные с такого рода предприятием, все это неблагоприятно действовало на мое воображение. Несколько раз я старался уговорить англичанина оставить предприятие, но напрасно. Волей-неволей я должен был следовать за ним. В провожатые мы взяли из деревни Новой

Аргури армянина Семена Саркисова, того самого, который уже сопровождал в прошлом году Абиха; ожидание татар с лошадьми, за которыми послан был казак в ближайшую деревню и которые должны были прибыть к вечеру, давало мне повод воспользоваться этим случаем, чтобы воротиться назад: как вдруг неожиданный вызов кордонного начальника, есаула К., сопровождать нас на гору устранил мои сомнения и все представлявшиеся нам неудобства. Ему единственно обязаны мы всем успехом предприятия.

Запасшись у казаков всем, что только можно было у них найти и распростясь с Г. И-м, страдавшим лихорадкой, отправились мы около двух часов после обеда в сопровождении господина Есаула К., четырех казаков и трех армян из Старой Аргури; вечером уже прибыли мы к небольшому садику, уцелевшему от завала, и лежащему в недельном расстоянии от Аргури.

Грустно было смотреть на этот печальный остаток некогда цветущего поселения, — особенно мне, помнившему прежнее его благосостояние и неоднократно посещавшему эти места с покойным Парротом, за четыре года перед сим с господином Вагнером, а в 1844 году с Абихом. Не более шести лет тому здесь еще существовало прекрасное селение, как по местоположению и климату, так по богатству и своей древности; но один роковой взрыв Арарата в продолжение нескольких лишь минут распространил опустошение и засыпал роковой могилой 5 000 душ жителей со всеми их домами, садами и полями, на пространстве около шести верст ширины и от пятнадцати до двадцати верст длины. Несколько деревьев, кое-где совершенно высохших, а где печально зеленевших, несколько надгробных камней направо от долины св. Иакова, заглохших в траве, — остаток бывшего кладбища, да несколько ям, вырытых хищными курдами над домами погибших, в надежде отыскать их имущество — печально напоминали о признаках прошедшей жизни!

На этом месте проведена нами первая ночь. Ранним утром достигли мы до небольшого леса на северной подошве Малого Арарата. Здесь, к удивлению нашему, во многих местах встретили образовавшуюся из снеговых лавин воду, которой в столь позднее время вовсе нельзя было ожидать, а так называемый Сардарский родник даже изобиловал ею, как бы в летнюю пору. Отсюда мы, так сказать, шаг за шагом следовали по стопам г. Абиха и около 2 часов после обеда очутились на месте бывшего его ночлега, между огромных лавин и бугров, во множестве наваленных беспорядочными массами. Тут представляется единственно

удобный на всей этой местности приют для отдохновения. Надобно было оставить лошадей и каждому, собравшись с силами, не идти, а карабкаться вверх.

Совершенная тишина царствовала вокруг, небо было чисто, и Арарат не омрачался ни малейшим облачком. Мы готовы были продолжать свой путь, но проводникам нашим нужен был отдых, и это к лучшему, иначе нам пришлось бы провести две ночи на самых холодных высотах. Скоро исполинская тень Арарата охватила нас пустынным сумраком, тогда как вся долина Аракса и горные хребты, его окружающие, сияли еще в пурпуровом блеске. К вечеру журчание горных потоков стало мало-помалу оживлять могильную тишину; это благоприятный признак, что и на отдаленных возвышениях Арарата еще держалась довольно умеренная температура.

17 сентября для многих из нас было весьма загадочным. Арарат совершенно чисто и ясно рисовался перед нами, как в зеркале. Должно было пользоваться прекрасной погодой. Мы поспешили запастись всем, что необходимо для такой дороги: теплым платьем, угольями и дровами, хлебом и вином. Взвалив свою ношу на спину, каждый вооружился казачьею пикою и таким образом весь караван наш, состоящий, кроме меня, Г. Симура и Есаула К., еще из трех армян и одного казака — двинулся вперед, сперва по ущелью, тянувшемуся от Большого Арарата прямо на восток и по направлению к Малому Арарату; потом по скалистому гребню, между первым и другим ущельем лежащему, и наконец, после небольшого обхода к северо-западу, по довольно крутому и утесистому протяжению, которое в том же направлении и достигает в виде черной полосы почти до самой вершины Арарата. Направо от этого протяжения или полосы возвышается единственный на этой местности высокий пункт килисагаш (т. е. церковный камень), названный так по сходству его с куполом армянских церквей. Отсюда идет до самой вершины широкий, вечным снегом и льдом покрытый, скат горы, а в смежности с ним лежит та заветная полоса, которую после долгих и опасных поисков открыл г. профессор Абих. Это как бы натуральная лестница, самой природой устроенная для сей цели, и другого удобнейшего всхода здесь не представляется. Следуя по ней, постепенно выше и выше, мы совершенно были обеспечены от всех опасностей, которые угрожают при подъемах на крутизны; надежнейшей опорой тут служит множество массивных камней, наваленных по всему пути, и затруднение встречается только там, где попадаются мелкие камни, песок и глина, иногда легко осыпающиеся под ногами. По этому пути и в столь позднее время года, изредка попадались нам между камнями еще зеленевшие

травы и цветы и две-три породы певчих птичек. Скоро мы заметили, не без отрады, что несмотря на краткость осеннего дня мы довольно рано миновали уже те опасные места, где года за два перед сим, при двукратных попытках наших с г. Абихом едва успели спасти жизнь свою от страшной вьюги, метели, бури и грозы, превративших места эти в настоящий ад. Мы прошли теперь далее и того места, где г. Абих на возвратном пути с вершины Арарата, в прошлом году, имел ночлег свой.

Неутомимому проводнику нашему Симеону Саркисову, с удивительной легкостью перебиравшемуся с утеса на утес, наконец захотелось остановиться здесь для ночлега, хотя мы напротив рассчитывали, что чем уйдем далее в такой тихий и прекрасный день, тем лучше. Впрочем, скоро и все наши спутники согласились здесь приютиться. Было около пяти часов и лучшего места на этих возвышениях отыскать было невозможно. Избранную нами просторную и ровную площадку почти с трех сторон защищали от ветра утесы и скалы; высота этой местности равнялась высоте Малого Арарата. Первое дело наше было развести огонь и согреться чаем; между тем медленно нисходила ночь на все окрестности.

Трудно изобразить величественную картину ночи на горных высотах, где безмолвная тишина, угрюмые обнаженные скалы и черные пропасти, при бледном сиянии светил небесных действуют на очарованного путника. Едва ли начали мы смыкать глаза, как неожиданное явление привлекло наше внимание: внизу, при подошве Малого Арарата в разных местах вдруг запылали костры. Был ли то табор контрабандистов, хищников Куртинцев, или какой-нибудь караван — разгадать было трудно. Не менее того занимал нас небольшой огонек, разведенный нашими людьми, оставшимися внизу. Казалось, никогда Арарат не был благосклоннее для предприимчивого путника.

Ночь протекла для нас благополучно и настало радостное утро. В продолжение ночи холод был незначительный и мы совершенно были бы счастливы, если бы некоторых из наших товарищей не беспокоила головная боль, сколько от употребления крепкого эриванского вина, которого, замечу кстати, отнюдь не должно употреблять в горных походах — столько же от разряженного воздуха и непривычки подыматься на значительные высоты. Окрыляемые надеждой скоро достигнуть вожделенной цели нашего странствия — до близкой отсюда вершины ветхозаветной горы — мы снова пустились вперед при ярком сиянии солнца. Теперь уж г. Симур, прежде отставший, стал опережать других. Дорога шла в том же направлении по черной полосе, и вот мы скоро очутились возле деревянного

креста, поставленного в 1844 году служителем г. Абиха, благочестивым Кар. Ценком. С каким усердием и терпением добрый немец возил этот крест с единственным желанием водрузить его на вершине Ноевой горы: но метель, буря, град, тогда застигшие нас на этом месте, принудили его расстаться здесь же с своим крестом, как и нас с ракетами и другими препаратами, взятыми для подания сигнала о счастливом вступлении на вершину горы.

Во ста шагах отсюда подъем делается круче и полоса, еще обнаженная от снега, начинает стесняться, за нею далее открывается снежная покатость, скоро оканчивающаяся просторной и почти ровной вершиной Арарата. Следовало сделать несколько усиленных шагов вперед по довольно отлогой покатости, чтобы очутиться на макушке горы. На этот раз судьбе угодно было предоставить счастье мне первому поклониться священной обители праотца рода человеческого.

Самая вершина горы представляет плоскую, несколько шероховатую от окрепшего снега равнину, на которой удобно прогуливаться пешком. Неприступная крутизна горы, кажущаяся издали, есть не более как оптический обман, тем более усиливаемый, что северная сторона Арарата, обращенная к Эривани, — действительно стоит почти отвесно, откуда на вершину горы доступен путь только птицам небесным; прочие же стороны Арарата, — прежде, никем не были исследованы.

После первых излияний радости мы должны были подумать о возвращении назад — о длинном и трудном пути. Было уже за полдень. Все близлежащие окрестности терялись в густом тумане; одни деревни и города едва мерцали чуть приметными точками. К западу от нас, в небольшом расстоянии, поднималась в своем зимнем серебристом облачении дорогая для меня по воспоминанию вершина горы, где в первый раз, за 17 лет перед сим, я с благодетелем и наставником моим профессором Парротом поклонился этой заветной святыне и водрузил там маленький деревянный крест!..

По причине пронзительного ветра и по недостатку теплых одежд, брошенных нами внизу, оставаться долее на возвышении было невозможно и потому, как только г. Симур окончил свои письма с вершины Арарата, — одно к князю наместнику кавказскому, а прочие к друзьям своим в Англию, — то мы, с благоговением простясь с священной вершиной, отправились в обратный путь.

Если кому посчастливится быть с этой стороны на Арарате, то не советую спускаться по той же дороге, делающейся от камней более затруднительной, чем при поднятии на гору. Гораздо

удобнее и легче скатываться по рыхлому снегу стоя или сидя и останавливаясь где заблагорассудится, посредством остроконечного кола, втыкаемого на бегу в мягкий снег. Сначала никто не отваживался на такое катанье; но один смелый казак первый показал нам пример, а собственный опыт ободрил каждого и таким образом мы вполовину сократили нашу дорогу, соединив пользу с удовольствием.

От места ночлега устремились мы в разные стороны, как только кому хотелось. Отважный казак первый подал весть нашим людям, остававшимся внизу; за ним я и есаул К. благополучно воротились к сборному пункту. Г. Симур успел добраться туда только ночью, обязанный единственному чудному случаю за свое спасение, ибо малейшая ошибка в темноте и он мог бы оступиться и погибнуть. Арарат в этот же вечер облекся в свою допотопную мантию, которая делалась более и более непроницаемой, а к вечеру молния и раскаты грома, отражавшиеся даже внизу, ясно показали нам, какой свирепый ураган разыгрывался на вершине недавно оставленной горы!

Следующим утром объяснилась для нас причина непонятного явления огней, замеченных нами с места ночлега на Арарате. Это был стан неприязненных Куртинцев, перешедших к подошве Арарата для поисков корма».

Оставил ли после себя этот английский аристократ какие-либо воспоминания о восхождении на Арарат, нам неизвестно. Говорят, что да. Наши публичные библиотеки выражают сомнение в наличии такой работы.

Скажу лишь два слова о судьбе этого любителя экстравагантных переписок. Боденштедт его встретил позже. В 1859 году он был у него в Англии, навестил этого степенного английского либерала-аристократа, в доме которого время от времени политические деятели либеральной партии украшали стол… Собственными глазами увидев мир, Сеймур угомонился. Абовян для него был одним из тысяч людей, встреченных по пути.

Последний год

Нужен был опыт десяти лет неравной борьбы, поражений и неудач, чтобы Абовян понял, насколько иллюзорны его расчеты на содействие врагов народа в деле осуществления демократической культурной программы, чтоб он физически ощутил упругую устойчивость того болота, которое называлось «национальной культурной прослойкой» и которую Шахазис так благозвучно именует «национальной интеллигенцией».

Он убедился, что основными врагами демократической культурной революции являются самодержавие, церковь и отечественная буржуазно-купеческая свора. Что он в этом убедился, видно из его письма к Мкртичу Эмину.

В августе 1846 года он писал этому цеховому ученому, глубоко приверженному национал-клерикализму и специфическому патриотизму колониальных торгашей. «Я почти закончил работу моей жизни. Многочисленные неудачи навсегда разбили мои мечты и намерения относительно просвещения детей нашего народа. Неудачи заставляют меня отказаться от должности и искать для себя приватной судьбы. Видно, стену лбом не прошибешь. В неприглядной Эривани лучше иметь экипированного осла или мула, чем все твои ангельские знания. Но нет, время и обстоятельства, а не Эривань или что другое несут и создают эти неудачи. Ошибочно считают наш народ врагом образования. Всякое образование должно соответствовать состоянию и материальной мощи народа. С нами не так поступают и потому нам остается либо как наемникам, преследуя только наши выгоды, нести службу, либо раз навсегда уйти, чтобы получить спокойствие души и совести. В поисках последнего я хочу теперь уединиться, оставляя все, что будет, на волю всевышнего».

Естественным выводом из такого выстраданного убеждения, что «время и обстоятельства, а не Эривань порождают эти неудачи», должна быть революционная программа. Абовяну оставалось два пути: либо подготовка кадров будущего революционного преодоления этих «обстоятельств», систематическая работа над прояснением сознания, над очисткой голов от всяких иллюзий и предрассудков, долгая кропотливая работа «на расстояние» (Ленин), для обеспечения победоносной борьбы будущего поколения, то есть перехода на более совершенную стадию демократического сознания — на путь революционно-демократического якобинства.

Либо полная прострация — обезнадеженный, опустошенный,

обессиленный, обезволенный, обезверенный, в плену личных забот и личных интересов заваленный мелочами, сознательно заслонив перспективу, а быть может и перестав вообще смотреть в даль из боязни видеть вновь миражи.

Для страстного Абовяна второй путь был равен смерти. Если к первому решению задачи Абовян не пришел, — а у меня под руками нет материалов для решения вопроса, — катастрофический финал его буйной жизни был неизбежен.

И дальнейший ход событий рисуется как быстрая развязка трагедии. 16 июня 1847 года Абовян пишет епископу Шахатуняну:

«По ликвидации дел я должен по приказу нашего главного начальника оставить Эривань и с семьей ехать в Тифлис. И если те же начальники разрешат, продолжить путешествие и далее до Петербурга, а может и дальше. Отсутствие мое, следовательно, продлится месяца четыре, если не более. По возвращении оттуда, если удастся и будет служба, думаю задержаться в Тифлисе, куда хочет перебраться и присоединиться ко мне наш Назарян для работ в пользу народа».

Но уже в сентябре Абовян вернулся в Эривань, откуда тринадцатого сентября пишет тому же Шахатуняну: «Человек предполагает, а бог располагает, — эту поговорку нужно крепко помнить всегда. Наши намерения временно не могут быть реализованы. Холера закрыла пути осуществления многих наших намерений. Не будучи в состоянии съездить в Петербург, вернулся по предложению начальства вновь к исполнению своих обязанностей в Эривань, ожидая предстоящего решения старших. Значит должность и занятия мои те же, что и прежде».

Эта неудача его не обескураживает. В январе 1848 года он появляется в Тифлисе без разрешения начальства, вероятно желая сговориться о переходе на работу в семинарию Нерсеса, но получает строгий выговор от дирекции и требование немедленно вернуться в Эривань.

В самом начале 1848 года его постигла неудача с совершенно неожиданной стороны. 11 января академик Броссе выехал в Эривань, получив рекомендацию от Блавацкого, находившегося тогда в Тифлисе. Исконный враг Абовяна, естественно, обставил дело так, чтобы академик не встретился с Абовяном.

14 января Броссе прибыл в Эривань и остановился у самого Блавацкого. Сопровождаемый адъютантом последнего, академик осмотрел город, съездил для своих занятий в библиотеке в Эчмиадзин, имея рекомендацию Нерсеса и 28 февраля вернулся в Тифлис.

В подробном отчете о своей поездке Броссе ни словом не упоминает об Абовяне. Последний знал о приезде академика —

это не возбуждает никакого сомнения. Можно себе представить, как тяжело должен был восприниматься такой факт Абовяном, у которого и без того была полоса угнетенного настроения.

Мелик Азарян утверждает, что Абовян получил наконец в марте извещение от Нерсеса о его отъезде в Тифлис для работы в семинарии. Был ли такой факт, или нет — документально неизвестно. Мы знаем лишь, что тридцатого марта 1848 года Абовян подал в отставку и начал сдачу дел своему заместителю.

Второго апреля 1848 года Абовян рано утром ушел из дому и больше не возвращался.

А двадцать шестого апреля того же года губернатор Эриванский писал наместнику Воронцову: «Уволенный от должности инспектор Эриванского губернского училища коллежский ассесор Абовян под утро второго апреля ушел неизвестно куда и бесследно исчез. По объяснению родных три дня до разлуки он впал в меланхолию, ничего не ел, мало говорил, не раздевался и будто страдал бессоницей».

Народная молва утверждает, что он увезен в «черной карете», то есть был арестован жандармами. Назарянц высказывает мнение, что Абовян покончил жизнь самоубийством. Есть версия, будто Н. Г. Чернышевский по возвращении из ссылки в Астрахани рассказывал тамошним армянам о своей встрече с Хачатуром Абовяном. Говорят, его могилу показывали в Охотске еще в семидесятых-восьмидесятых годах XIX века.

Альтернатива, которая встала перед Абовяном, допускает оба варианта. Судить о достоверности какого-либо из этих предположений (их было много, но я ограничиваюсь двумя, наиболее с моей точки зрения правдоподобными) можно только после тщательных изысканий[20].

Памятник Абовяну в Эривани

Заключение

Канакерский Хачатур-дпир, на вершине Арарата заворачивающий кусок льда в платок, чтобы донести его до Эчмиадзина и «святой» водой Ноева предания напоить растрескавшиеся земли греховной церкви, — горячий демократ, просветитель, постигший всю глубину пропасти, отделявшей народ и его интересы от церкви и абсолютизма — Абовян нам не чужд. Он наш, несмотря на его срывы, на его непоследовательность, на его колебания и иллюзии, на его предрассудки и преувеличения.

Смешно было бы сегодня нам говорить о непосредственном наследовании идей Абовяна. Он уже преодолен до нас Микаелом Налбандяном. Только став на его могучие плечи, Налбандян мог вырваться из всепоглощающего болота и подать руку русской революции. За эту величайшую заслугу Абовян будет жить в памяти пролетариата, как один из ранних предшественников его дела.

Героические строители Канакергрэса не должны забывать, что впервые факел науки и просвещения над затхлым болотом, именуемым армянской действительностью, зажег канакерский мужицкий сын Хачатур Абовян, что тот путь, который привел трудящиеся массы Армении к Октябрьской революции в единую семью пролетариев нашего великого Союза, был освещен впервые Хачатуром Абовяном, что в море света электрогигантов Советской Армении включен и этот первый факел, осветивший сквозь чад и дым исходные «предтропья» социального прогресса в Армении.

Новые строители сорвут с него националистические рубища. Но вместе с тем они глубоко оценят его страдания за народное просвещение, за демократизацию науки и языка, его героическую борьбу с тьмой и невежеством, с духовным и физическим рабством, с церковным мракобесием и чиновным произволом.

Приложения

В числе дел, обнаруженных в архиве Казанского университета, имеющих отношение к истории общественной мысли Армении, одно из важнейших — дело об издании Гайканского журнала. Ниже мы приводим несколько листов из этого дела. Они имеют прямое касательство к нашей теме, хотя ни в одном из приведенных документов имени Абовяна не упоминается.

Дело попечителя Казанск. Учебн. Округа, 1844, № 54. Об издании адъюнктом Назарианцем Гайканского журнала. На 14 листах.

Лист 1

Его Превосходительству Господину Попечителю Казанского Учебного Округа,

Тайному Советнику и Кавалеру

Адъюнкта Армянской кафедры Назарианца

ПРОШЕНИЕ

Одна из благодатных целей, соединяемых Русским правительством с открытием в Казани кафедры Гайканского языка и литературы, без сомнения и та, чтобы посредством чисто народного органа, в формах, доступных для Армянской нации, подействовать на умственное ее образование.

Знакомство армян с их прошедшим, чтобы проникнуть всю значительность настоящего; знакомство армян с историей, с духовным состоянием Европейского мира: вот вопросы, коих разрешение довершит по крайней мере частью это всемирно-историческое призвание России переселить на почву Азиатскую семена Европейского образования.

Имея счастье служить лицом, содействующим осуществлению благих намерений Русского правительства относительно Гайканского языка и литературы, нахожу в высшей степени полезным основать журнал на армянском языке, имеющий целью: в удобопонятных формах сообщать армянам любопытные сведения из области отечественной истории, литературы и предметов общего образования.

Надеясь, что Ваше Превосходительство одобрите мое предположение, с одной стороны, клонящееся к пользе

Гайканского народа, а с другой — к прославлению имени Вашего как ревностного покровителя ныне осиротевшего Арменизма, осмеливаюсь покорнейше просить Вас быть так милостивым и сходатайствовать мне начальственное дозволение к изданию предначертанного мною журнала Армянского, коего конспект представляю при сем на благоусмотрение Вашего Превосходительства.

Для беспрепятственного издания этого журнала весьма желательно, чтобы он подвергался испытанию в Московском Цензурном Комитете.

3 февраля 1844 г. Казань.

Адъюнкт Назарианц.

Его Превосходительству Господину Попечителю Казанского учебного округа,

Тайному Советнику и Кавалеру

Адъюнкта Армянского языка Назарианца.

ДОНЕСЕНИЕ

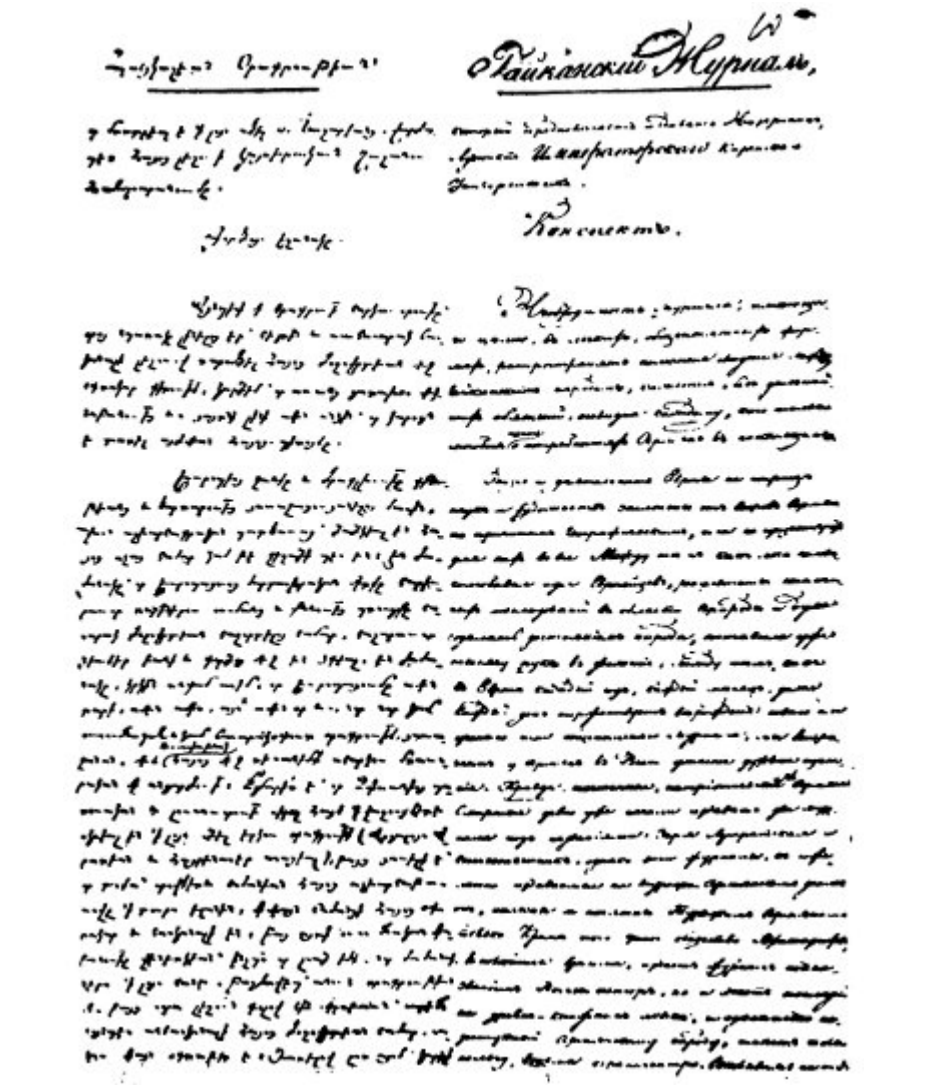
В дополнение представленного мною на благоусмотрение Ваше конспекта об издании Гайканского журнала, Ваше Превосходительство желали предварительно знать об ответственном издателе, о сотрудниках, о порядке и объеме журнала, о времени его выпуска в свет.

Ответственным издателем Гайканского журнала будет адъюнкт Назарианц, сотрудников не имеется еще и по готовности многочисленных к тому материалов едва ли почитаются они нужными при самом начале. Издаваться будут ежемесячно по два печатных листа; годовому изданию вместе с пересылкою по почте назначается восемь рублей серебром.

Относительно правильного издания журнала осмеливаюсь уверить, что кроме непредвидимых препятствий ничто не будет останавливать продолжение его сообразно предначертанному плану. Выпуск журнала в свет начнется немедленно после того, когда найдутся двести подписчиков.

Адъюнкт Назарианц.

10 марта 1844 г. Казань.



Листы 2–3

Гайканский журнал
Конспект

Необходимость журнала, имеющего целью в легких, общепонятных формах распространять полезные сведения между Гайканским народом, кажется без дальних объяснений очевидна каждому, кто только способен судить о потребностях Армян в настоящем.

Жизнь и деятельность Европы на поприще наук и художеств для взоров Армян, по их географическому положению, покрыты еще непроницаемым мраком, или не существуют вовсе. Между

тем как эта человеколюбивая идея европейцев, результаты многолетних исследований в области природы и духа сделать достоянием народа, поставила уже тысячу рук в движение; между тем как в Европе каждый год, каждый месяц, даже каждый день торжествует возрождение нового или ученого или общеполезного журнала, мы встречаем у Армян ужасное духовное оцепенение. Этот народ лишен до сих пор общего органа, который бы провозглашал успехи времени в разнообразных отраслях человеческого знания, возбуждал в нем благородное соревнование; этот народ не имеет доныне духовного посредника, который бы производя умственную мену между разбросанными по всему миру сынами Гайка, слил их в единое нравственное тело, одушевленное общею волею, общими мыслями: вот причина необыкновенной раздельности интересов Армян! вот источник пагубного их равнодушия ко всему, что касается до истинного блага отечества!

Чтобы ознакомить Гайканский народ с его историей, литературой, чтобы поставить его в духовное сношение с образованною Европою, признаем в высшей степени важным основание журнала на Гайканском языке, который, по нашему мнению, должен поставить себе задачею, как уже выше изложено, в легких, общепонятных формах сообщать Армянам:

I. Отрывки из отечественной истории, географии, литературы, равно как сведения об успехах последней в новейшие времена.

II. Любопытные статьи по части всеобщей истории, землеописания, статистики, естествоведения, сельского хозяйства и коммерческих наук.

III. Краткие политические известия, на основании издаваемых в Петербурге; также о литературной деятельности Европы с биографическими сведениями об отличных писателях.

Адъюнкт Назарианц.

3 февраля 1844 г. Казань.

Лист 13

Министерство Народного Просвещения.

Канцелярия Министра. 28 апреля 1845 г. № 618.

Господину Управляющему Казанским Учебным Округом, Ректору Университета.

Представление Г. Попечителя Казанского Учебного Округа от 8 февраля сего года за № 703 о предпринимаемом Адъюнктом Армянского языка при Казанском Университете Назарианцом

издании Армянского журнала было предложено мною на рассуждение Главного Управления Цензуры. Управление находя затруднение в цензуровании сего издания, так как язык, на котором оно по предположению будет издаваться, неизвестен никому из чиновников Университета, кроме самого издателя, признало нужным повременить сим изданием до других благоприятнейших обстоятельств.

О сем предлагаю Вашему Превосходительству к сведению.

Министр Народного Просвещения Уваров

Директор (подпись неразборчива)

Примечания

Абих Герман. Геолог, родился в Берлине в 1806 г. Окончил Берлинский университет со степенью доктора. Совершил ряд научных экспедиций по Европе. С 1842 г. — преподаватель Дерптского университета. Ездил по Армении первый раз в 1844 г. (с апреля до середины ноября) в сопровождении Абовяна, привлекаемый недавним извержением Арарата (30 июня 1840 года), ездили они также по Макинскому ханству и Баязету. Попытки взобраться на вершину Арарата кончились неудачей. Второй раз А. был в Армении в 1845 г. и 29/VII взобрался на Арарат, на этот раз без Абовяна. С 1854 г. оставил кафедру и переехал на Кавказ, был причислен к корпусу горных инженеров, изучал Кавказ и его геологию до 1877 г. В 1853 г. получил звание академика, в 1861 г. был избран почетным членом Российской Академии наук. В 1877 г. выехал в Вену с намерением организовать издание своих трудов, но, не завершив издания, умер.

Агаронян Аветик (род. в 1869 г.). Современный армянский писатель, идеолог крайнего воинственного буржуазного национализма. Был послом дашнакской Армении в Европе. В литературе специализировался на плаксивых рассказах из жизни беженцев и «страждущих наших братьев». Крикливая и малограмотная «философия» каннибализма делает его последние статьи жалкими.

А — До. Современный националистического толка публицист, один из активных пропагандистов партии Дашнакцутюн, автор ряда очерков о Турецкой Армении, в которых он отстаивал наиболее оголтелые национал-каннибальские установки.

Аламдарян Арутюн. Поэт и педагог. Родился в Астрахани, учился там же. В 1813 г. был приглашен в Лазаревский институт восточных языков преподавателем. В 1814 был рукоположен в священники. В 1821 г. приехал в Астрахань. Когда в 1823 г. — Нерсес открыл училище своего имени, он пригласил его директором. Был горячим сторонником Нерсеса. После перевода последнего в Кишинев, его стали притеснять. Аламдарян переехал к Нерсесу, в 1833 был назначен настоятелем в монастырь в Нахичевани н/Д., был ограблен и убит. Писал на грабаре ложноклассические, тяжеловесные стихи, не отразившиеся заметно на последующей литературе. Гораздо более плодотворна была его педагогическая деятельность.

Араратян Аракел (1808–1887). Реакционер, идеолог

поповщины, учитель. Учился с Абовяном и Назаряном в Нерсесян-училище. Всю жизнь вел бешеную травлю всего демократического, преследовал литературу на народном языке. До самой смерти был учителем армянского языка в гимназии. В 1859 году выпустил «Краткую биографию Воскерчяна», где поместил и свою автобиографию.

Ахпат — старинный монастырь (IX–X век). Расположенный в живописной высокогорной долине, издавна считался крепостью армяно-грегорианской ортодоксии в ее борьбе против католичества. Долгое время там концентрировалось все церковное просвещение. Эчмиадзинские чернецы часто уединялись туда — кто на отдых, а кто для занятий. После завоевания Армении русскими, монастырь этот пришел в упадок. Ныне — полуразвалившийся памятник армянской архитектуры, расположенный в семи верстах от Алавердских медных рудников.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848). Великий русский критик. В поисках закономерностей общественного развития, он последовательно прошел периоды увлечения идеализмом Шеллинга, Гегеля, примирения с действительностью, страстным протестом против гнусной николаевской действительности, утопического социализма и кончил материализмом Фейербаха. С 1834 г. Белинский вел журналистскую работу до самой смерти, четырнадцать лет идейно руководил всей революционной общественной мыслью.

Бельгийская революция 1830 года явилась результатом быстрого развития промышленности, ставившего Бельгию в оппозицию к торговой Голландии. Июльские события во Франции лишь ускорили этот взрыв, последовавший в сентябре. Революцию вынесли на своих плечах рабочие, а временное правительство провозгласившее независимость Бельгии 4 октября, состояло из представителей буржуазии. Оно отказало народным массам в избирательных правах, ввело высокий избирательный ценз и объявило Бельгию конституционной монархией.

Боденштедт Фридрих (1819–1891). Немецкий поэт и путешественник. Перевел на немецкий язык Пушкина и Лермонтова. В 1844 г. приехал в Тифлис на должность директора учительского института. В этот год он и познакомился с Абовяном и ездил с ним по Армении. Но уже в 1845 г. отказался от должности и уехал в Германию. Огромную популярность приобрел Боденштедт своими «Песнями Мирзы-Шаффи» (1851).

Броссе Марий Иванович (1802–1880). Выдающийся языковед, специально занимавшийся восточными языками. В 1836 году был избран членом Российской Академии наук по кафедре

армянской и грузинской словесности. Проделал колоссальную работу по изучению памятников древней словесности армян и грузин, детально разработал проблемы грузинской филологии.

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859). Журналист, издатель «Северной пчелы». До середины двадцатых годов был связан с польскими радикальными кругами. Позже стал крайним реакционером, тайно обслуживал Третье отделение. Имя его стало синонимом доносчика. В Дерпте он бывал несколько раз — имел вблизи собственную мызу. Инцидент с Абовяном — не единственное столкновение Булгарина со студентами университета. Последние не выносили наглого реакционного выскочку и всячески демонстрировали свою Неприязнь к нему.

Вагнер Мориц (1813–1887). Известный путешественник, географ и естественник. Начал с геологических поездок. Уже путешествуя по Кавказу, занялся естественно-историческими изысканиями. В Армению ездил в мае-июне 1843 года по маршруту: Тифлис — Ахта — Севан — Эривань — Эчмиадзин — Арарат — Алагез — Гюмри — Джалал-Оглы — Тифлис. В многочисленных работах описывал свои поездки. Позже объехал большую часть Америки. Перед самоубийством, был занят преимущественно разработкой вопросов дарвинизма.

Варжапет — армянское слово, означает — учитель. В разговорной речи стало синонимом дурной ограниченности, мелкобуржуазной интеллигентской тупости, национальной ограниченности, провинциализма и прекраснодушия.

Вольтер Мари Франсуа (1694–1778). Писатель, философ, крупнейший французский просветитель XVIII века, идеолог правого крыла революционного третьего сословия, враг церкви и попов, рационалист и деист. В литературе пропагандировал в классических формах новые идеи. Его повести, драмы и поэмы все публицистичны преимущественно.

Воскан Степан. Турецко-армянский публицист. Был в 1848 году в рядах инсургентов и писал о них в армянской прессе восторженные статьи. После контрреволюции Кавеньяка перешел в лагерь победивших и выступал неприкрыто представителем буржуазно-консервативной послереволюционной Европы.

Гакстгаузен Август, фон (1792–1866). Путешественник, исследователь русской крестьянской общины. Начав с исследований по аграрному вопросу, он заметил некоторые остатки былых общинных отношений, сохранившихся еще в Германии. Для выяснения природы этих отношений, предпринял путешествие по России с благословения и при субсидии царского правительства. В шесть месяцев должен был объехать почти всю Европейскую Россию, поэтому задерживался в путешествии мало.

В Армению приехал 24 августа и пробыл до 29 августа 1843 г. Для своих задач — изучение семейно-бытовых особенностей народа — широко пользовался сведениями, сообщенными Абовяном, о чем он пишет сам. Примерную, типичную семью для изучения он взял также из Канакера, поэтому материалы, сообщаемые Гакстгаузеном в своей книге «Transcaucasia» имеют первостепенное значение для биографии Абовяна и для описания среды, окружавшей его.

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831). Великий немецкий философ идеалист. Когда Абовян приехал в Дерпт, имя Гегеля было наиболее популярных. Среди профессоров Дерптского университета был целый ряд молодых профессоров — учеников Гегеля. Естественно, Гегель был предметом многократных разговоров и обсуждений. О том, что Абовян читал Гегеля, свидетельствует запись в его дневнике — о трудности понимания его.

Гердер Иоганн Готфрид (1744–1803). Выдающийся немецкий писатель, поэт, критик и историк культуры. Окончил богословский факультет Кенигсбергского университета. Был преподавателем в Риге, стараниями Гете был приглашен в Веймар на должность придворного проповедника. Его «Фрагменты по немецкой литературе» и «Критические речи» имели огромное значение. Из длинного ряда его работ укажем на «Мысли по философии истории человечества», которые Назарянц намеревался переводить на армянский язык. Судя по письмам Назарянца, он и Абовян читали Гердера.

Герцен Александр Иванович (1812–1870). Крупнейший русский публицист и политический деятель, основатель русской политической эмиграции и вольной русской печати, родоначальник русского мелкобуржуазного социализма и один из авторов теоретических положений народничества последовавших лет. Герцен и его кружок, действовавший одновременно с Белинским, увлекались утопическим социализмом Сен-Симона и Фурье, под влиянием Белинского изучали Гегеля и левогегельянцев и примкнули к материализму Фейербаха. В его и его кружка развитии Шиллер играл важную роль, о чем Герцен свидетельствует неоднократно.

Гете Иоганн Вольфганг (1749–1832). Великий немецкий писатель. В своих «Дневниках» Абовян с большой грустью отмечает дату смерти Гете. Наряду с Шиллером, Гете оказал на Абовяна колоссальное влияние, особенно его «Вертер» и «Гец фон Берлихинген». Любовь к великому поэту Абовян настойчиво внушал своим питомцам.

Греческая война за освобождение 1823–1825 годов была

лишь звеном в цепи освободительных партизанских войн и восстаний, охвативших Грецию, начиная с конца XVIII века. Начавшаяся в 1823 году с особой силой, партизанская война привлекла сочувствие широких слоев европейской общественности. Этот порыв симпатий нашел многочисленное отражение в литературе и публицистике. Байрон даже организовал целый отряд в помощь восставшим и сам пал жертвой, участвуя в обороне Миссолунги. Но греки были еще слабы, к тому же их раздирала борьба партий, защищавших различные ориентации. Поэтому туркам удалось подавить восстание в 1826 году взятием Миссолунги.

Дидро Дени (1713–1734). Знаменитый французский материалист, писатель и философ, основатель и редактор знаменитой «Энциклопедии». Дидро — один из подлинных идейных подготовителей Великой французской революции.

Дпир — дьякон, низший церковный чин в армяне-грегорианской церковной иерархии.

Ерицян Александр (1841–1902). Реакционный армянский историк и археолог, родился в Тифлисе, получил среднее образование. Поступил на казенную службу, позже перешел на работу в Кавказской археологической комиссии. Редактор реакционного журнала «Вачаракан» («Купец») и сотрудник всех армянских реакционно-поповских газет и журналов. В 1886 г. оставил казенную службу и занялся исключительно литературой. Его работа на армянском языке: «Армянский католикосат и кавказские армяне XIX века» (т. I и II), 1890 и 1892 гг. — осталась незаконченной. Его же «Семидесятилетие Нерсесян-училища» и др.

Ефрем Католикос Дзорагехци (1750–1835). Архиепископ астраханский, был избран в католикосы в 1800 г. Правление его совпало с русской экспансией на юг и расцветом в связи с этим движения в пользу русских. Ефрем был неприкрытым руссофилом, был тесно связан с Нерсесом Аштаракским и находился под его влиянием. Сардар в последние годы притеснял материально монастырь и под конец потребовал, чтобы католикос съездил в Шуши (тогда уже русская провинция) и собрал среди богатых армян деньги для выплаты сардару. Прибыв в Шушу, Ефрем отказался ехать обратно, несмотря на старания Нерсеса. Он подал в отставку. Когда русские взяли Эчмиадзин, приехал туда (1828) по предложению Паскевича. Последний всячески добивался отсрочки выборов католикоса, чтобы устранить кандидатуру Нерсеса. Наконец подходящий случай помог, Нерсеса назначили в Кишинев, а католикосом избрали Иоанна при живом еще Ефреме (1830). Ефрем был слабохарактерный

старик, который до известной степени выполнял роль прикрытия для бесцеремонного хозяйничания разных как монастырских, так и светских групп — чиновных и военных авантюристов, вроде генерала Бебутова, который легко добивался назначения своих людей по епархии, руками коих Николай превращал армянские области в аванпост своих агрессий. Не потому Паскевич противился избранию Нерсеса, что последний мог в этом направлении чем-либо чинить ему препятствия, а потому, что Иоанн, преемник Ефрема, был более пригоден, не требовал даже соблюдения внешнего приличия, в отличие от строптивого и более или менее самостоятельного Нерсеса.

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852). Знаменитый русский поэт и переводчик, лучший представитель сентиментализма и романтизма в допушкинскую эпоху русской литературы. В своих «Дневниках» Абовян упоминает про теплую встречу с Жуковским, который проездом из Италии через Швейцарию очутился в Дерпте и **передал привет от Монблана, увидавшему вершину Арарата.**

Иоанн Корбеци (1761–1842). Преемник Ефрема, был избран из среды монастырских «местоблюстителей». Национал-клерикальный историк так характеризует его: «Весьма ограниченных знаний, он имел все необходимые Паскевичу качества: был врагом Нерсеса, был властолюбив, давно мечтал быть католикосом, корыстолюбив, питал большую страсть к золоту и серебру, был готов на подобострастие к власть имущим и никогда бы не осмелился перечить им» (А. Ерицян, т. I, стр. 526). Под прямым давлением Паскевича и его ставленников, при выборе 1831 года, его избрали преемником Ефрема.

Карапет. Архиепископ, глава тифлисской епархии, реакционнейший мракобес, ставленник католикоса Иоанна. Распорядился сжечь учебник Абовяна, уже отпечатанный, на том основании, что он составлен на новом армянском языке.

Карбонарии — в переводе «угольщики» — члены мистической буржуазно-революционной организации. Своеобразное превращение на итальянской почве масонства, ставившее себе целью борьбу за объединение и освобождение Италии из-под ига Франции, а затем — Австрии. Они играли решающую роль в революции 1820–1821 года (против Австрии) как и в неудавшемся восстании 1831 года, когда им удалось поднять на восстание против Австрии — Модену, Парму и Романью. Карбонарии понадеялись на французскую помощь, но Франция не помогла и австрийцы легко, опираясь на остальную Италию, подавили восстание.

Крылов Иван Андреевич (1768–1844). Знаменитый русский

баснописец, журналист и драматург. Его басни переведены на многие языки. Белинский считал его единственным истинным и великим баснописцем. Абовян перевел многие из басен Крылова на армянский язык и очень высоко ставил его талант. В 1846 г. он предпринял сбор на сооружение памятника «к блаженной памяти бессмертного нашего баснописца-гения», как писал он в своем отчете.

Лафонтен Жан (1621–1695). Виднейший французский баснописец. Басня, подвергшаяся в средние века деградации, была возрождена им как подлинно художественный жанр и средство проповеди буржуазного воззрения. Влияние Лафонтена на всю мировую литературу было колоссально.

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646–1716). Математик (изобрел дифференциальное и интегральное исчисления), философ, физик (впервые сформулировал закон сохранения энергии). Один из самых всеобъемлющих умов своей эпохи. Писал по вопросам права, политики, был в дипломатических миссиях. Глубоко верующий человек, он делает попытки примирить философию с откровением. Целью его философской деятельности явилось стремление преодолеть дуализм системы Декарта. В теории познания Лейбниц — рационалист.

Лео. Псевдоним мелкобуржуазного армянского историка, публициста и писателя **Аракела Бабаханяна**. Родился в Шуше в 1860 г. в семье портного. Учился в епархиальной школе и в казенном уездном училище. Литературную деятельность начал рано: с 1878 г. стал писать в разных газетах. Только в 1893 г. он вырвался из шушинской обстановки в Баку, а с 1895 г. был приглашен в редакцию органа армянских либералов «Мшака». Политически колебался между буржуазным либерализмом и воинственным национал-демократизмом. После первой революции оказался в редакции дашнакского «Оризона». После большевистской революции в Армении, в своих «Воспоминаниях» подверг резкой критике политику авантюр партии Дашнакцутюн. Литературных работ у него на много томов. Главные из них: «Дочь мелика» — роман, «Ст. Назарян» тт. I и II, «Григор Арцруни», «История Армении» т. I, «Воспоминания», т. I, и т. д.

Лессинг Готфрид Эфраим (1729–1781). Крупнейший немецкий писатель-драматург, критик, самая значительная фигура в немецком просветительском движении. Французский путешественник, в числе прочих любимых Абовяном авторов, упоминает Лессинга. Это вполне понятно. Как создатель буржуазной драмы, как гуманист и один из крупнейших носителей национально-демократического сознания, Лессинг должен был более всего прийтись по душе Абовяну.

Ливен Карл Андреевич, князь (1767–1884). В 1820 г. был назначен попечителем Дерптского университета и находился в дружественных отношениях с Парротом-отцом, ректором университета. Это знакомство вероятно использовал Паррот-сын, когда выхлопотал Абовяну стипендию и возможность учиться в Дерпте. Ливену тем легче было исполнить просьбу Паррота, что с 1828 по 1833 год он был министром народного просвещения.

Лука Ванандеци — основной литературный сотрудник, а затем и руководитель амстердамской армянской типографии, возобновившей свою деятельность в 1695 году. Арменовед Шредер, который изучил армянский язык у Луки говорил о нем, как о человеке глубоко образованном, владевшим многими языками. Лука был лично знаком с Лейбницем и многими учеными и философами Амстердама. Схоластика и теологическая риторика подавляли в нем те ростки раннего гуманизма, которые в нем несомненно бродили. Он — автор первой книги по естествознанию и сравнительному изучению мер и весов на армянском языке. С переходом типографии к нему дела пошли хуже, пока она не была продана с торгов в 1717 году.

Мирза-Шаффи Садык Оглы (иначе Садыков). Выдающийся азербайджанский писатель и поэт, род. в Гандже в 1792 г. Был учителем тюркского языка с 1840 г. и до смерти. С незначительным участием И. И. Григорьева составил «Хрестоматию азербайджанского наречия». Подобно Абовяну, передал Боденштедту большую часть своих новелл и стихотворений, которые Боденштедт обильно и произвольно использовал (см. работы тов. Сеид Заде). Умер в Тифлисе, в 1852 г. Имя выдающегося поэта Мирза-Шаффи встречается у Раффи (см. его очерк «Гарем», «Армянские беллетристы», т. I). Было бы любопытно, если бы армянские исследователи установили: о том ли поэте идет речь.

Мхитар Себастаци (1676–1749). Основатель ордена мхитаристов. С ранних лет монашествуя и скитаясь, остро почувствовал, будучи в приморских городах, назревшую среди армянской городской буржуазии потребность национального просвещения. Он решил под покровительством папы организовать духовный орден, который занялся бы культурной работой среди армян. В 1717 г. Мхитару удалось заполучить о. св. Лазаря в Венеции и основать там конгрегацию — ученое братство. Мхитаристы усердно занялись издательской деятельностью, переводами и комплектованием библиотеки рукописей. В XVIII и первой половине XIX века они сыграли большую роль в деле распространения культуры среди западных армян. Реакционная сторона их влияний была в том, что буржуазная национальная

идея была у них приправлена густым настоем феодальной церковно-поповской идеологии. С зарождением светской и демократической литературы роль мхитаристов значительно снизилась.

«Мурч» («Молот») — ежемесячный литературно-критический и публицистический журнал. Начал выходить в 1892 г. под редакцией Арасханяна. Основное стремление редакции — собрать «все прогрессивные силы» без различия оттенков — делало журнал эклектическим. Наряду с работами мелкобуржуазных субъективистов печатались полумарксисты и даже марксисты. В годы первой революции журнал под редакцией Левона Саргсяна занял позиции европейского реформизма. Прекратился изданием в 1907 году.

Назарянц Степанос (1812–1879). Крупнейший армянский публицист и общественный деятель. Сын священника. Первоначальное образование получил в школе архимандрита Погоса, где учился вместе с Абовяном. Оба друга в 1824 г. перешли в училище Нерсеса, которое окончили в 1826 г. Биографам не удалось выяснить его судьбу после училища и до его вступления в Дерптский университет. Но «Дневники» Абовяна показывают, как неустанно заботился последний о судьбе оставшегося в Тифлисе друга. Запись от 1832 г. (число неизвестно) повествует о конечном результате его забот. В разговоре со своим другом Швабе, последний обращается к нему: «Нет ли среди армян другого юноши, кто бы мог приехать сюда к нам учиться? Очень желательно, чтобы потомки выдающегося старого и способного народа ездили к нам учиться в большем количестве». «Есть один такой юноша, — ответил Абовян, — его зовут Степанос, и он также весьма прилежен к ученью. В прошлом году я очень старался вызвать его сюда, но не смог».

Швабе предлагает Абовяну съездить в Петербург и похлопотать о Назарянце, обещая поддержать его материально. Но неудобство и малая вероятность успеха такой поездки сразу же бросаются в глаза собеседникам, и Швабе обещает помочь лично из своих средств Назарянцу устроиться в Дерпте

(Лео «Назарянц»).

Назарянцу удается, наконец, в Тифлисе достать у С. Тер-Гукасова средства на дорогу и выехать на учение в 1832 г. В отличие от Абовяна, он, подготовившись, поступает в университет, который кончает в 1840 г. По окончании едет в Петербург, намереваясь определиться преподавателем Лазаревского института, но получив ученую степень едет в Казань. В 1849 г. его приглашают в Лазаревский институт.

Типичный буржуазный либерал Назарянц ставил и решал

проблемы просвещения и нового языка в той мере, в какой это диктовали интересы колониальной армянской буржуазии и если он пришел в резкое и кричащее противоречие с церковью и попами, то только потому, что последние были агрессивны и не поддавались ни на какое движение вперед.

В 1843 году он послал Нерсесу длинное и восторженное письмо по поводу избрания католикосом, возлагая на него огромные надежды, предлагая себя для работы в новом учебном учреждении, которое он проектировал основать в Эчмиадзине.

Нерсес не только не пошел навстречу этому предложению, но дал понять, что осуждает европейские симпатии Назарянца. В 1847 г. Назарянц писал архиепископу Шахатуняну: «Пусть уважаемый отец (Нерсес) осуждает меня сколько хочет: чужими благодеяниями я учился в чужом краю и теперь в поте лица своего зарабатываю и с семьею питаюсь у дверей русского кесаря. Я не нуждаюсь в армянах, и они не могут быть моими судьями. То, что я хотел делать, — хотел беззаветно, подбиваемый любовью к отечеству — ни во что ставит безобразное ко мне отношение моего отечества. То, что хотел делать могу и не делать, ибо глупые люди, препятствия чиня, мешают всем моим шагам».

Вот он — Нерсес!

Да, этот герой армянских националистов умел доводить до отчаяния всех тех, кто носил в душе хоть искру сознания ответственности перед широкими трудящимися массами.

В 1847 г. Назарянц решился все же ехать в Тифлис к Абовяну, чтобы предпринять совместно борьбу за новый язык, но помешала эпидемия холеры, загнавшая Абовяна обратно в Эривань и помешавшая Назарянцу приехать. А в начале следующего года Абовяна не стало. Назарянц окончательно отказался ехать в Тифлис и перевелся в Москву.

Тут он начал издание журнала, который связал его имя неразрывно с историей армянской передовой журналистики. В 1858 г. начал выходить «Юсисапайл», который с первых же шагов стал объектом дикой травли всей поповско-варжапетской своры. Но и в журнале Назарянц, ведя мужественно борьбу с церковной реакцией, в положительной части своей программы не шел далее жалкого либерального крохоборства. Линию абовяновского демократизма повел другой сотрудник «Юсисапайла» — Микаел Налбандян, после незначительных колебаний понявший, что нет другого пути для армянской демократии к свободе, как путь единства с передовой революционной демократией России. Эти два направления ясно наметились на страницах журнала. И по вопросам идеологии и по вопросам политики. После ареста

Налбандяна «Юсисапайл» просуществовал еще лишь один год (в 1863 не выходил вовсе). Назарянц без него не смог продолжить дело с прежней энергией и издание пришлось прекратить с 1864 г.

В 1869 г. Назарянц был приглашен в Тифлис ректором Нерсесян-училища, где работал до 1871 г. Вернулся в Лазаревский институт в 1871 и остался там до смерти.

Налбандян Микаел (1829–1866). Крупнейший армянский революционный демократ. Родился в Нахичевани на Дону. Отец имел огромную семью. Жили бедно. Учился в школе Г. Патканяна до 1846 года. Последнее обстоятельство следует подчеркнуть особо, так как Патканян и был тот, кто посеял первоначальное недоверие к Нерсесу. Налбандян с каждым годом все яснее понимает исключительную реакционно-плутократическую политику Нерсеса и начинает против него борьбу. Разумеется, она носит все еще характер внутреннего и церковного протеста, но уже в 1848 г. Налбандян приходит к сознанию необходимости выйти из этой корпорации. Но, вовлеченный в склоку, он еще пять лет мучается в этой среде, подвергаясь преследованиям Нерсеса. Все попытки «последнего вызвать его в Эчмиадзин для расправы кончаются неудачей. Тогда глава духовных мракобесов через полицию добивается ареста Налбандяна. В 1853 г. Налбандяну удается получить снятие звания и убежать в Москву. Здесь он поступает в Лазаревский институт преподавателем армянского языка, сдав предварительно экзамен на право преподавания в Петербурге.

Но мстительный Нерсес и тут его не оставляет в покое и добивается его ареста. Только вмешательство друзей — Назарянца и др., а также предъявленное свидетельство о выходе из духовной корпорации спасает его от прогулки под кулак Нерсеса.

Решив завершить образование Налбандян поступает в Московский университет вольнослушателем, где обучается до 1858 года.

Познакомившись с Назарянцом еще в первые годы приезда, Налбандян сильно увлекся идеей создания журнала и принял самое горячее участие во всех подготовительных хлопотах. «Юсисапайл» начал выходить с 1858 года. Это были годы расцвета русского просветительства. Налбандян всей душой примкнул к направлению «Современника». В этом духе он вел всю публицистику нового журнала, направлял все удары против клерикализма, против консервативных пережитков, против феодальных традиций, не забывая при всяком удобном случае добивать Нерсеса.

На этой почве у них с Назарянцем раскол был неизбежен, и он произошел в следующем же году.

В 1859 году Налбандян был за границей. Близко наблюдал итальянское освободительное движение. У него под сильным влиянием Мадзини и Гарибальди вызрела теория национально-освободительной борьбы.

Вернувшись в Россию, он окончательно порвал с Назарянцем. В 1860 году поехал в Индию по делам завещанных разными купцами городу Нахичевани денег. Вернувшись в Европу, пять месяцев жил в кругу русской революционной эмиграции (Бакунин, Герцен, Огарев и др.) здесь у него окончательно прояснилась революционно-демократическая концепция, связывавшая дело национального освобождения армян с русской революцией. Написал тут свою программную работу «Земледелие» и издал под псевдонимом Маникян. Вся книжка выдержана в духе поздних народнических интерпретаций идей Бакунина и Герцена. На книге несомненные следы влияния Огарева.

В середине июня 1862 г. он вернулся в Россию (Петербург) и поехал в Нахичевань, чтобы отчитаться в поручении. Но 14/VII был арестован и доставлен в Петропавловскую крепость. Был привлечен к делу «лондонских пропагандистов», по которому он просидел до 14/V 1865 года в крепости.

Крепость подточила и без того слабое здоровье Налбандяна, он получил туберкулез. Перевели в ссылку в Камышин, куда он прибыл 7/XII 1865 г. Умер 31 /III 1866 г.

Нерсес V Аштаракци (1760–1857). Герой буржуазно-националистической интеллигенции, родом из Аштарака. В бытность свою главою тифлисской епархии он старался создать школу. После долгих подготовок училище его имени открылось в 1824 году.

Идя навстречу назревшим потребностям торгово-промышленной буржуазии, он всячески способствовал развитию торговли и промышленности. Политическую программу русофильской буржуазии Нерсес развивал и осуществлял весьма активно. Участвовал в русско-персидской войне, возглавляя партизанские армянские отряды. После взятия Эривани и в связи с борьбой вокруг кандидатур нового католикоса, был переведен архиепископом бессарабской епархии в Кишинев.

В 1843 г. был избран католикосом. Однако, получив власть, не поспешил предпринять какие-либо реформы, какие-либо решительные меры по просвещению широких масс.

Католикос Нерсес был тем же препятствием на пути к прогрессу, как и его предшественники — в этом убедился горьким

опытом Абовян, это было исходное для дальнейшего роста Налбандяна — культура и просвещение должны быть завоеваны против церкви и против попов — вот что установили в мучительной борьбе армянские демократы.

Ноябрьское восстание в Польше явилось непосредственным откликом на Июльскую революцию. Известия из Франции волновали общество. 29 ноября 1830 года двадцать подхорунжих (юнкеров военной школы) напали на дворец наместника. Одновременно население Варшавы было призвано к оружию. К повстанцам пристали польские полки. Успех революции был полный. В самой революционной Польше боролись партии — консервативно-аристократическая, желавшая лишь изменения конституции и радикально-демократическая, стремившаяся к национальной независимости.

Временное правительство из консерваторов назначило диктатора. В январе 1831 г. Хлопицкий сложил диктатуру. Сейм 25 января объявил об отложении от России. Но тот же сейм в апреле отверг предложение наделить крестьян землей и заменить барщину оброком. Этот отказ идти хотя бы на малейшее улучшение положения крестьянства лишил сейм широкой народной поддержки. Русским войскам, вступившим уже в январе в пределы Польши, сравнительно легко удалось преодолеть сопротивление поляков, которые были разгромлены после падения Варшавы 7 сентября 1831 года.

Огарев Николай Платонович (1813–1877). Друг Герцена, поэт, публицист, соредактор герценовских изданий («Колокола», «Полярной звезды», «Голоса из России» и т. д.), где разрабатывал преимущественно вопросы крестьянский и экономические. Поэзия Огарева чисто лирическая. В ней нашло изумительно яркое отражение предчувствие грядущего дня, томление «рано проснувшихся», поэзия дружбы и клятвы верности идеалам. Лучшая его поэма «Юмор» — один из наиболее ярких памятников эпохи 40-х годов.

«Оризон» — легальный орган армянской партии Дашнакцутюн, более семи лет пропагандировавший идеи воинственного авантюристического национализма. Начал выходить с лета 1909 года, на средства армянских капиталистов (Амб. Меликяна и др.). Близко к редакционной работе были привлечены Лео, Ов. Туманян и Газ. Агаян. Лео в своих воспоминаниях рассказывает, что всех трех упомянутых писателей вовлекли агенты дашнакского центра, обманув их, уверяя, что газета будет беспартийной. После революции они узнали, что дашнакский центр считал «Оризон» своим органом. Рассказ вполне правдоподобен. Дашнакский центр не раз и не в

таких делах прибегал к обману.

Оуэн Роберт (1771–1856). Английский социалист-утопист, который, начав с филантропии, дошел в решении социальных вопросов до коммунизма: «Переход к коммунизму, — писал Энгельс в 1878 году, — был поворотным пунктом в жизни Оуэна. Пока его деятельность была простой филантропией, она доставляла ему богатство, всеобщее одобрение, почет и славу. Он был тогда популярнейшим человеком в Европе. Его речам благосклонно внимали не только товарищи по общественному положению, но даже сами государи и министры. Стоило только Оуэну выступить со своими коммунистическими теориями, — показалась оборотная сторона медали». Для педагогики важнейшее значение имела его книга «Образование человеческого характера» (1812–1816 г.). в которой он пытался связать проблему воспитания с решением более широкого и фундаментального вопроса о социальных порядках.

Песталоцци Генрих (1746–1827). Крупнейший теоретик педагогики. Его педагогическое учение, изложенное систематически в романе «Лингард и Гертруда» (1781), вышло непосредственно из основных положений Руссо. Рано лишился отца. Получив среднее и высшее образование, он, охваченный демократическими влияниями кануна революции, «пошел в народ» и стал заниматься сельским хозяйством. Потерпев неудачу, устроил заведение для покинутых детей, где впервые экспериментировал педагогические советы Руссо. В 1789 г. он перешел на педагогический труд и с разной степенью удачи экспериментировал свои педагогические положения. Швейцарская обстановка была отсталая, а потому Песталоцци не смог развить теорию трудового воспитания на индустриально-фабричной основе.

Погос. Архимандрит Карабахский — арменовед, глава и руководитель школы, основанной в 1815 г. Нерсесом в Тифлисе. В 1817 г. Нерсес вызвал его из Карабаха и передал ему дело воспитания юношей. Погос хотя и имел славу арменоведа, но ничего своим ученикам не мог предложить, кроме грамматики Чамчяна и железного своего посоха, которым он колотил учеников нещадно. Особого помещения «школа» не имела, учение происходило в келье Погоса или Тапитагском монастыре. Но даже такая школа была шагом вперед от Эчмиадзина, ибо Абовян приехал туда для «усовершенствования» в науках. Школа Погоса просуществовала до 1824 г., когда Нерсесу удалось открыть более или менее современное учебное заведение своего имени.

Прошьян Перч (1837–1907). Бытописатель армянской деревни. С любовью и пространно описывал он нравы, обычаи,

порядки и предания родного села (он родился в Аштараке), идеализируя и прикрашивая. Консервативно-народническими чертами своих воззрений перекликался с русскими беллетристами — народниками. Прошьян в литературе прямой ученик и последователь Абовяна.

Вот как он описывает свое первое чтение «Ран Армении» и клятву описать родной Аштарак в духе Абовяна. В крайней нужде и оставшись без крова и средств, Прошьян бродил по улицам Тифлиса под проливным дождем, не имея, куда идти. Вдруг он замечает дом, где живет его односельчанин Тер-Овсепян и идет к нему. Последний его принимает любезно: «С ног до головы переодел, взял в свою комнату, предложил вместе с чаем одну новую армянскую книгу и извинился, что часа на два он должен отлучиться, ибо должен был заниматься с несколькими нахлебниками-учениками.

Книга была новостью для меня.

«Раны Армении» и «Хачатур Абовян» поглотили мое внимание. Еще не раскрыв, глядел на обложку и, обомлев, вертел ее в руках.

Начал с введения.

Трудно передать впечатление и те бурлящие чувства, которые во мне следовали одно за другим. То слезы печали, то слезы радости, то подпрыгивал на месте. Бог знает, чего со мной не происходило. Хорошо, что хозяин ушел и никого при мне не было, иначе стоило бы меня связать и прямо отправить в дом умалишенных.

Как прошло время не могу припомнить. Помню только ощущение, будто правую руку кто-то колет и до ушей доходит голос далекого эхо. Быть может и на этот раз я оставил бы все без внимания, если бы книга не была уже окончена.

— Что это вы в обмороке? Оглохли или потеряли способность чувствовать? Вот уже свыше пяти минут я тереблю вас, кричу, а вы не отвечаете…

— Что это? Что с нами делает Абовян? Что за необычайное и прелестное явление в нашей литературе? Где был спрятан этот бесценный клад до сих пор?

— Да, на всех читателей производит одно и то же впечатление. Сегодня у всех на устах «Раны Армении», благодарность Пондояну, что издал.

— И почему бы Абовяну не иметь последователей? Почему мы оставляем наш народ лишенным чтения? Доколе наша литература будет достоянием только интеллигентов?

— Мы много об этом говорили. Но где теперь среди нас

человек, могущий идти по его стопам? Не думаете ли вы, что это дело легкое?

— Попытка ведь не пытка.

— Ваши намерения? — скептически спросил собеседник.

— Не столько, но если вполовину удастся, приемлемо будет?

— И четвертая доля нас удовлетворит.

— Не ручаюсь за полную удачу, но вот моя рука, я буду учеником Абовяна.

…После ужина, в постели, я второй раз от доски до доски прочел «Раны Армении».

Это было в «начале осени 1859 года.

В этом же году Прошьян приступил к работе над своим первым романом «Сое и Вардитер».

Свое обещание он полностью выполнял на протяжении почти полстолетия. От «Из-за хлеба» и до «Деревенского пьяницы» он продолжал писать о деревне, о ее нуждах и потребностях, радостях и печалях. Писал с тяжеловесным этнографическим обрамлением, с сохранением особенностей языка и стиля.

Паррот Георг (отец) (1767–1852). Профессор физики. Защитил в 1802 г. докторскую диссертацию, занял кафедру в Дерпте. Был ректором университета. При посещении Александром I Дерпта Паррот произнес приветственную речь на французском языке, которая понравилась молодому императору. Познакомившись, они подружились и дружба эта тянулась до смерти Александра. Кафедру оставил в 1825 г. Был избран в Российскую Академию наук.

Паррот Фридрих (1791–1841). Профессор физиологии, физики, путешественник. Учился в дерптской гимназии. Окончил медицинский факультет и был оставлен при университете по кафедре физиологии и патологии. В 1826 году, после выхода отца в отставку, занял кафедру физики. Еще студентом участвовал в географических экспедициях. В 1829 г. (август-сентябрь) предпринял восхождение на Арарат. В 1837 г. возглавил экспедицию на о. Нордкопа. Вернувшись, заболел и умер. Свое путешествие на Арарат с подробным результатом наблюдений изложил в книге «Reisezum Ararat», Berlin, 1837.

Раффи (псевдоним Акопа Мелик Акопяна) (1832–1888). Выдающийся армянский писатель. Род. в селе Пайаджук в районе Салмаста (Персия). Отец имел торговлю. По делам был связан с Тифлисом, куда свез сына и определил в гимназию. Но долго учиться ему не пришлось. Из четвертого класса был вынужден уйти, чтобы помогать отцу в его делах. По торговым делам много ездил по Турецкой Армении. Вскоре отцовское дело пришло в расстройство и он поступил на службу сперва приказчиком, затем

газетчиком, учителем. Поздно получил возможность посвятить себя литературе. Начал печататься очень рано, уже в «Юсисапайле» поместил стихотворения, но вскоре перешел на очерки и повести этнографического характера. Медленно кристаллизовывались в его творчестве элементы того агрессивного национализма, который с особой силой вспыхнул в период русско-турецкой войны. Известно, как эта война вначале увлекла даже русские демократически настроенные круги демагогией насчет «братьев-славян». Она послужила исходным для конструирования теории воссоединения Армении в единое независимое целое под покровительством «великих держав». Без преувеличения можно сказать, что Раффи создал подлинную романтику добровольчества и национал-демократическую фразеологию. Раффи — типичный и самый талантливый идеолог воинствующего национал-демократизма. Исключительно богатый личный опыт, трудовая тяжелая жизнь в молодости, острая наблюдательность и превосходное знание нравов нашли яркое отражение в его романах. Личное знакомство с бытом турецких армян, превосходное знание страны, наблюдения над бесправным и угнетенным положением армян в феодальной Турции сослужили ему превосходную службу, когда он начал художественную проповедь агрессивно-националистических идей. Идеал свой Раффи, по примеру русской тенденциозной литературы, изложил в «Хенте» в виде сна («Сон Вардана»). Общая концепция его утопии будущего значительно напоминает утопии русских просветителей-шестидесятников, с тем, однако, дополнением, что роль культуртрегера Раффи возлагает на армян, которые в силу своего «культурного преимущества» должны ассимилировать курдов и создать на армянском плоскогорье республику братства. Братство, как видите, не из самых приятных, основанное на поглощении своих соседей.

Руссо Жан Жак (1712–1778). Великий французский демократ-социолог, педагог, публицист, один из последовательнейших подготовителей Великой французской революции. Наиболее далеко идущие демократы революции — якобинцы считали Руссо своим прямым учителем. «Слава Руссо вечна, — писал Марат, — и если бы она могла еще расти, она засветилась бы в настоящее время новым блеском, потому что мы главным образом ему обязаны революцией, которая подготовляется в сфере управления. Если бы этот славный философ вернулся к жизни, он торжествовал бы при виде того, как плодотворны оказались для нас его уроки». Руссо — основоположник демократической педагогики, его учение о естественном воспитании, о труде и его роли в деле воспитания,

произвели целую революцию в последовавшей педагогике. Его «Эмиль» стал настольной книгой всей передовой педагогики на долгое время.

Сеид Заде А. А. Современный историк тюркской и турецкой литературы, лингвист. В 1928 году 18 февраля сделал сообщение в Коммакадемии, а 5 ноября 1932 г. в Академии наук об установленном им плагиате Фр. Боденштедта у Мирза-Шаффи. Из его работ укажем: «Боденштедт или Мирза-Шаффи» в литературных приложениях к «Красной панораме» кн. X, 1928 г., «Жизнь и творчество Мирза-Шаффи по архивным материалам», Баку, 1929 «Великий мыслитель и поэт» (на тюркском и русском языках), Ганджа, 1929.

Симеон католикос Ереванци. Известен своими заботами о благоустроении Эчмиадзина. Был избран в 1763 году. Основал при монастыре школу, на привлеченные от армянских купцов индийских колоний средства создал типографию, выписал из разных стран мастеров и создал бумажную фабрику. При нем в Эчмиадзине собралось несколько ученых монахов. Умер в 1780 году.

Тер-Карапетян Н. Священник, учился в Георгян-семинарии в Эчмиадзине. По окончании (1895/96) написал диссертацию на тему «Хачатур Абовян и «Раны Армении». Использовав архив Абовяна, он сделал первую попытку дать его биографию.

Уваров Сергей Семенович, граф (1786–1855). Несменный президент Академии наук с 1818 г. В молодости вращался в кругу либеральной дворянской молодежи. Карьерист, ловкий делец, способный на все слуга он был оценен Николаем и назначен в 1833 г. министром народного просвещения. Уваров оправдал все ожидания Николая. Он является автором пресловутой формулы: «православие, самодержавие, народность», преследовал литературу, проводил открыто реакционную дворянскую политику в деле народного просвещения. Белинский справедливо назвал его «министром погашения и помрачения просвещения России».

Фихте Иоганн Готлиб (1762–1814). Крупнейший философ, представитель классического немецкого идеализма, поставивший себе задачу преодолеть дуализм Канта монизмом на основе абсолютного идеализма. В 1807 г. читал в Берлине свои знаменитые «Речи к немецкому народу», полные пламенного призыва к освобождению порабощенной родины, к консолидации разрозненных частей ее в мощное целое. Речи не были свободны от того, что Руссо назвал «крайностями патриотизма».

Френ Христиан Данилович (1782–1851). Крупный ориенталист и нумизмат. Ученую деятельность начал в Казани,

где с 1807 г. начал чтение курса и изыскания по нумизматике мусульманского востока. Основательное знакомство с восточными рукописями позволило ему впервые вовлечь в русскую историческую науку материал из арабских рукописей о России. Основатель Азиатского музея. С 1820 года избран ординарным академиком.

Хемницер Иван Иванович (1745–1784). Баснописец, сын военного врача, выходца из Германии. Тринадцати лет добровольно ушел на военную службу, по возвращении служил в Горном училище, позже — российским генеральным консулом в Смирне. Литературой занимался на досуге. Начав с перевода Лафонтена, он стал писать позже басни сам, из коих многие дожили до крыловских времен, а некоторые («Метафизики») и теперь не утратили остроту.

Шахазис Ерванд. Современный армянский историк и публицист. Занимается изучением общественной мысли второй половины XIX века. Недавно издал «Архив М. Налбандяна» — собрание до сих пор опубликованных писем и бумаг Налбандяна. Решительный эклектик. В своих построениях целиком стоит на почве домарксистских убогих «концепций».

Шахазис Смбат. Поэт, один из ближайших друзей и сотрудников Назарянца. В этом кругу он идейно примыкал к правому буржуазно-либеральному крылу Назарянца, отражая и в поэзии и в статьях настроения колониальной армянской буржуазии. Родился в Аштараке в 1848 г., десяти лет поступил в Лазаревский институт, окончив его в 1862 году, остался там преподавателем. Тридцатипятилетие педагогической деятельности отпраздновал в 1897 году. Его основная поэма «Скорбь Леона» — малых поэтических достоинств — является декларацией взглядов либерального национализма. Статьи посвящены защите Назарянца от нападков реакционеров. Из поэтического наследства сохранили интерес лишь некоторые его лирические стихотворения.

Шиллер Иоганн Фридрих (1759–1805). Великий немецкий поэт и драматург. Своей боевой поэзией юношеских лет занимал наиболее радикальное крыло идеологов третьего сословия Германии. В этот ранний период наиболее сильное влияние на него оказал Ж. Ж. Руссо. Романтический бунт против феодализма, тираноборство и довольно неясная борьба за решительную переделку существовавших порядков — такова программа Шиллера, оказавшего на все молодое поколение русских просветителей и на Абовяна сильнейшее влияние.

«Разбойники» — самая характерная драма Шиллера этой стадии его творчества. Это — стихийный бунт против

сковывавших всякое дальнейшее движение феодальных оков, за свободную республику, которую Шиллер представлял себе в значительной мере «по Руссо».

Карл Моор — главный герой и резонер автора. Он и есть носитель начала благородного бунта против несправедливостей, против рабства, против тирании.

Маркиз Поза — другой резонер переломного Шиллера, пережившего воздействие кантовского идеализма, увлеченного верой в силу слова и убеждения. Маркиз Поза — это проповедник тех добродетелей, того расплывчатого буржуазно-идеалистического вольнолюбия, которое так типично для идеологов третьего сословия отсталых стран. Другая драма, оказавшая несомненное и сильное влияние на Абовяна — это «Вильгельм Телль» — одна из величайших художественных картин национально-освободительной борьбы угнетенной нации против тирании чужеземного гнета. Как ни угомонился после Французской революции Шиллер, как ни наделена драма консервативными привесками — этот могучий призыв к свободе и независимости, к защите личного и национального достоинства должен был и произвел решающее и сильное влияние на Абовяна.

Эчмиадзин — знаменитый армянский монастырь, резиденция главы армяно-грегорианской церкви — католикоса всех армян. По преданию основан в V веке. Здание церкви, много раз реставрированное, сохранило основные черты древне-армянской архитектуры. Монастырь издревле, был богатейшим экономическим центром, центром эксплуатации крестьян — подвластных монастырю непосредственно, а прочих — периодическими «богомольями». Все попытки националистической буржуазии превратить Эчмиадзин в центр консолидации национальных культурных интересов кончались неизменно неудачей, ибо Эчмиадзин был и остался памятником феодального гнета, варварства и темноты. Знаменитая его библиотека древних рукописей теперь превращена в музей.

Библиография

Настоящая библиография отнюдь не исчерпывает материал.

Ниже мы регистрируем только то, что нами просмотрено и что оказалось возможным найти в библиотеках Москвы.

Но в Москве нет ни одной библиотеки, в которой была бы укомплектована сколько-нибудь сносно армянская периодика XIX и начала XX века. Даже Ленинская Всесоюзная библиотека имеет разрозненный подбор дореволюционной периодики, а турецко-армянской вовсе не имеет. При таких условиях неполнота — неизбежный порок.

Этот недостаток можно было бы восполнить, прибегая к помощи существующих библиографических указателей, но и тут исследователь встречает большие трудности.

По какому-то дурно понятому «аристократизму», — который есть прямой и непосредственный продукт умственной лени, — армянские исследователи и ученые организации оставили вовсе без внимания дело создания справочников и подручных указателей, предоставляя, вероятно, эту работу по традиции мхитаристским попам.

Нужно ли напомнить ученым учреждениям Армении, что справочник — дело важное, что без них никакая наука в наше время немыслима, что, следовательно, их прямая обязанность немедленно приступить к созданию их?

I. Список главных работ Абовяна

«Раны Армении». Впервые вышла в 1858 г. в Тифлисе на средства учеников Абовяна — Иосифа Пондояна и Георга Акимяна.

«Нахашавит» («Предтропье»). Была издана при Абовяне в 1842 г. и уничтожена. Сохранились два-три экземпляра. В 1862 г. Энфианджан издал первую часть ее в Тифлисе.

«Парап вахти хахалик». 1844. Упоминается в некоторых указателях издание 1864 года. Достоверность этого сообщения проверить нам не удалось. Включена в первое собрание сочинений 1897 года.

«Собрание сочинений». Было издано к пятидесятилетию со дня смерти, под редакцией С. Тер-Саргсяна, на средства Джамгарова. М. 1897.

«Новое восхождение на Арарат» (на русском языке). — «Кавказ», 1847, № 2.

«Курды» (на русском языке). — «Кавказ», 1848, № 46, 47, 49, 51.

Вновь найденное стихотворение Абовяна. «Лума» 1902, № 4.

Новые свидетельства о восхождении на Арарат. Армянский перевод статьи Абовяна из «St. Petersburger Zeitung» — «Арарат», 1893, апрель.

«Овсанна». «Крунк», 1861, № 5 и 6.

Отрывок из Абовяна. «Аршалуйс Араратян» 1850. № 60 от 31/III.

«Песня Агаси». Напечатана в песеннике Гамар Катипа

(Петербург), перепечатана в константинопольском «Мегу» (60-ые годы).

Стихотворение, посвященное Саркису архимандриту Джалалян, «Мегу Айастани», 1858, № 2.

«Занги». «Крунк», 1860.

Путешествие на Арарат. Незаконченный рассказ о восхождении 1829 года. В статье А. Ерицяна «Новые материалы».

Neues Zeugniss fur die wirkliche Ersteieung des Gipfels des Ararats durch des Herrn Professor von Parrot aus Dorpat.

Маленькая вступительная заметка редакции и письмо Абовяна, которое подписано: St. Petersburg, den 7 Februar 1835 Diakons der Armenischen Kirche Chatschatur Abovian — «St. Petersburger Zeitung», 1835, № 34 от 9(21) февраля.

«Посмертные сочинения». Брошюра, Тифлис 1904.

«Раны Армении». Баку 1908 (второе по счету издание).

«Азарапешан». Тифлис 1912.

«Предисловие к «Нахашавигу». «Оризон» № 127 за 1912 г.

«Парап вахти хахалик». — «Дасакаргаин Пайкар». М. 1933. Издание иллюстрировано художником Л. Генч, примечания и послесловие В. Ваганяна.

«Армянские беллетристы». Сборник Б. Берберяна и Ю. Веселовского, т. I. Отрывок из IV главы «Ран Армении», перевод А. Богданяна.

В разных хрестоматиях помещались не раз отрывки из «Ран Армении», их мы здесь не регистрируем.

II. Литература об Абовяне

1. На русском языке

Акты Кавказской Археографической комиссии, т. X.

Акты Кавказской Археографической комиссии, т. VII.

Акты Кавказской Археографической комиссии, т. VIII.

Романовский. Историческая записка об Эриванской гимназии.

Тифлис 1890.

С. Тер-С аргсян. Х. Абовян как этнограф. «К истории армянской этнографии». М. 1900.

Ю. Веселовский и Б. Беберян. Сборник «Армянские беллетристы», т. I, М. 1893. Биографический очерк Ю. Веселовского «Х. Абовян».

Гакстгаузен барон Август, фон. Закавказский край. Заметки о семейной и общественной жизни и отношениях народов, обитающих между Черным и Каспийским морями, I и II. СПБ. 1857.

П. Макинциан. Очерк армянской литературы. Сборник армянской литературы, под редакцией М. Горького. Книгоиздательство «Парус» А. Н. Тихонова, Птрг. 1916.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Юрьевского университета. Издан под редакцией С. Левицкого. Юрьев 1913.

П. Петросян. Памяти Х. Абовяна «Баку», 1910, № 281,

Г. Абих. Восхождение на Арарат 29/VII 1845 года. «Горный журнал» за 1846 г., т. II, стр. 108–152.

Г. Абих. Та же статья перепечатана газ. «Кавказ», 1846, февраль.

Не регистрируем статьи различных справочников.

2. На немецком языке

Freiherr A. von Haxsthausen. Transcaucasien. Leipzig 1856.

Moritz Wagner. Reise nach dem Ararat und den Hochland Armenien. Stutgardt und Tubingen 1848.

F. Parrot. Reise zum Ararat. Berlin 1834.

F. Bodenstadt. Tausend und ein Tag im Orient. Berlin 1850.

F. Bodenstadt. Erinnerungen aus meinem Leben, zweite Aufl., Berlin 1888.

K. Koch. Wanderungen im Orient wahrend dem Jahre 1843–1844. Weimar 1847.

A. List. Abovian. Literarische Skizzen. «Armen. Bibliothek», herausg. von A. Joannisiani, Leipzig. S. a.

Moritz Wagner. Reize nach Persien und dem Lande der Kurden — zweiter Band. Mit einem Anhang: «Beitrage zur Volkerkunde und Naturgeschichte West Asiens». Leipzig 1852.

H. Abich. Die Besteigigung des Ararat am 29 Juli 1845. «Beitrage zur Kentniss des Russischen Reiches». XIII Band. St. Petersburg 1849.

H. Abich. Schreiben an Herrn Al. von Humbolt, dat. Tiflis in Januar 1845 mit worin derselbe Nachrichten iider seine Geognostische Reise zum Ararat und insbesondere iider die Verschuttung des Thales von Arguri in Jahre 1840 giebt. «Monatsl. iiber die Verhandlungen der Gesellschaft fur Erdkund» zu Berlin, IV Band, Berlin, 1847.

H. Abich. Sur les ruins d'Ani. Extrait d'une lettre, adressee M. le president de TAcademie. — Tiflis, 30 Janvier 1845. «Bull. Historique et Philologique», II, 1845.

(Три работы Абиха не имеют в себе ничего, непосредственно касающегося Абовяна; ученый геолог избегает даже называть участника экспедиции Абовяна, хотя упоминает ряд имен «достопочтенных немцев». Тем не менее мы регистрируем их — это единственный след его шестимесячного путешествия).

О людях, с которыми Абовяну (приходилось общаться в Дерпте, о профессорах, у которых он учился, студентах, с которыми он общался, сведения можно почерпнуть из следующих книг.

Г. Левицкий. Биографический словарь профессоров и преподавателей Юрьевского (бывшего Дерптского) университета. Юрьев, 1913.

Allgemeine Schriftsteller und Gelehrter Lexikon der provinzen Livland, Estland und Kurland Bearbeitet von J. F. von Recke und K. E. Napiersky. Mitau 1931.

Album academicum… der Kaiserlichen Universitat Dorpat Bearbeitet von Hasselblftt und Otto. Dorpat 1889.

3. На армянском языке

С. Шахазис. Деятельность Назарянца. «Храпаракахос Дзайн». М. 1881.

(Н. О. Эмин). Исследования Н. О. Эмина по армянскому языку, литературе и истории. Издание этнографического фонда имени Н. О. Эмина, выпуск IV. М. 1898.

Н. Адонц. Конец Хачатура Абовяна (разбор книги А. Бакунца). «Вем» № 1, 1933 (контрреволюционный дашнакский орган, издающийся в Париже).

А — До. Последние пять лет жизни Хачатура Абовяна, «Горц» № 5–7, 1917.

Е. Шахазис. Х. Абовян. «Известия Института наук и искусств ССРА», № 3, 1928.

Ст. Назарян. Письма к Абовяну. «Мурч» № 2 и 3, 1904.

Т. Авдалбекян. Х. Абовян. Вагаршапат, 1910.

Н. Тер-Карапетян. Х. Абовян. Тифлис 1897 (первое издание).

Лео. С берегов Зангу. «Оризон» №№ 263, 270, 274, 1910.

С. Тер-Саргсян. Х. Абовян. Биографический очерк, приложение к собранию сочинений. М. 1897.

К. Кусикян. Гениальное сердце. «Гарун», сборник III. М. 1911. Перепечатан в его сборнике «Гракан Демкер». М. 1912.

А. Шахназарян. Общественная и литературная деятельность Х. Абовяна. М. 1899.

М. Налбандян. По поводу смерти Г. Гегамяна. Сочинения. Том

II. Ростов-на-Дону. 1906.

М. Налбандян. Спиритизм («Мерелаарцук»). Сочинения. Том I. Ростов-на-Дону. 1906.

Д. Ананун. Общественное развитие русских армян в XIX веке, т. I. Баку, 1916.

Г. Ванандеци. Х. Абовян. История армянской литературы, т. II. Армгиз. Эривань, 1933.

А. Бакунц. О «безвестной отлучке» Х. Абовяна. Эривань 1933.

А. Иоаннисян. Абовян (1804–1848). Армгиз, Эривань 1933.

В. Ваганян. Х. Абовян. Страницы из истории раннего армянского демократизма. Приложение к книге Абовяна «Паран вахти хахалик». «Дасакаргаин Пайкар». М. 1933.

А. Ерицян. Новые материалы к биографии Абовяна. «Порц», № 8–9, 1880.

Ис. Арутюнян. Мир чувств. «Лума». № 1,1898.

Л. Тигранян. Армянские студенты германского (немецкого) Дерптского университета. «Лума», № 5, 1903.

П. Прошьян. Хачатур Абовян. «Агбюр» № 3, 1902 (перепечатано в № 1 того же журнала за 1908 г.).

А. Абегян. Ф. Боденштедт об Абовяне. «Лума» № 4, 1902.

В. Чубарян. Очерк деятельности Хачатура Абовяна. «Лума» № 5, 1905.

Р. Манасян. Могила Х. Абовяна в Охотске. «Андес Амсоря» № 5, 1927.

Р. Абрамян. Неопубликованные письма Х. Абовяна. «Андес Амсоря» № 6–7, 1929.

П. Прошьян. «Раны Армении» Х. Абовяна и мой «Сое и Вардитер». «Андес Граканакан ев Патмакан», кн. VI. М. 1895.

Переписка Мсера Мсерианца. «Парос Айастани», тетрадь I, 1876, т. I, 1879, т. I, 1880.

Ст. Назарянц. Письмо Абовяну. «Тараз» № 1 за 1913–1914.

М. Вагнер. Путешествие в Армению. Перевод на армянский язык Чамчяна. Вена, 1851. Издание мхитаристов.

М. Налбандян о «Ранах Армении» Х. Абовяна. «Октембер-Ноембер», сборник статей. Армгиз. Эривань 1932.

П. Прошьян. Воспоминания (первый цикл). Тифлис 1894.

А — До. Хачатур Абовян и Эриванское епархиальное училище. «Оризон» №№ 84 и 91 за 1914 г,

Материалы к биографии Хачатура Абовяна. «Ардзагаик». № 16, 1894.

А. Ерицян. Старое и новое. Материалы к национальной истории. IV. Из жизни Хачатура Абовяна. «Ардзагаик». №№ 101 и 102, 1896.

Ст. Воскан. Х. Абовян и его «Раны Армении». «Аревмутк», №

№ 6, 7, 10, 1859.

А. Тертерян. История новой армянской литературы XIX–XX в.в. тетрадь I. Начало новой армянской литературы и Хачатур Абовян. Эривань 1930.

Л. Манвелян. История литературы русских армян, ч. I. Тифлис 1913.

В. Папазян. История армянской словесности с начала до наших времен. Тифлис 1911.

Лео. Ст. Назарян, т. I. Тифлис 1902.

М. Агабекян. Статья в «Крунке», 1860.

Ст. Назарян. Об Абовяне. «Юсисапайл» № 2, 1858.

Веселовский. Отголоски поэзии Шиллера в армянской литературе. В сборнике его статей «Очерки армянской литературы и жизни». Армавир 1906.

С п. Спендиарян. «Тридцатилетие «Ран Армении». «Нор Дар», № 30, 1893.

С п. Спендиарян. Памяти Абовяна. «Нор Дар» № 72, 1893.

О. Хачумян. О втором издании «Ран Армении». «Нор Дар» № 137, 1893.

Лео. Абовян. «Мшак», № 92, 1898.

Ал. Калантар. Хачатур Абовян. «Мшак», №№ 92 и 93, 1898.

Т. Ованесян. Искренний народолюб. «Мшак», № 92 1898.

Ал. Ц атурян. «Сочинения Хачатура Абовяна». «Мшак» № 92, 1898.

Л(ео). Одно предложение. «Мшак», № 94, 1898.

Сп. Спандарян. Белинский и Абовян. «Нор Дар», № 94, 1898.

Н. А(гбалян). Из биографии Ст. Назаряна. «Оризон», № 228, 1913.

А. Абегян. «Азарапешан». «Оризон» № 226, 1912.

Арт. Абегян. Страницы из Абовяна. «Оризон» № 127, 1912.

Ванандеци. Хачатур Абовян. По поводу открытия памятника. «Хорурдани Айастан» № 155 от 6/VII, 1933.

О. Аракян. Хачатур Абовян. «Базмавеп», кн. I. 1903.

«Хачатур Абовян». «Анаит», 1898.

«Хачатур Абовян». «Масис», №№ 931 и 932, 1869.

Т. М. «Народный армянский язык в русской Армении». «Базмавеп», за апрель и май 1898.

Гр. Ванцян. По поводу столетия со дня рождения Х. Абовяна. «Аршалуйс», №№ 51 и 52, 1905.

Памятник Абовяну. «Карабах», № 3, 1912.

Св. М. Мелян. Об одном поступке Х. Абовяна. «Оризон», № 143, 1914.

Е. Гемалян. Об Абовяне. «Оризон», № 140, 1914.

А г. М. Х. Абовян и Эриванское епархиальное училище.

«Оризон» № 131, 1914.

Е. Топчьян. Календарь «Луйе» на 1905 г.

«Хачатур Абовян». «Жаманак», 1909/10, № 475.

О. Б архударян. Путешествие в Армению Боденштедта. «Андес Граканакан ев Патмакан», кн. 2 за 1 889 г.

Ов. Ованисян. Несколько сведений об Абовяне. «Мшак», № 27, 1884.

Нукен. По поводу столетия со дня рождения Абовяна. «Мшак», № 2. 1906.

По поводу столетия со дня рождения Х. Абовяна. «Еркир», № 2, 1906.

О. Туманян. Пятидесятилетие армянской литературы. «Втак», № 126, 1908.

И. Арутюнян. Пятидесятилетие «Ран Армении». «Втак», № 126, 1908.

А — До. Последние пять лет жизни Х. Абовяна., «Нор о саик», № 5, 1914.

Ширванзаде. По поводу памятника Х. Абовяну. «Оризон», № 84, 1910.

Айкуни. Х. Абовян и его «Раны Армении». «Мегу Айастани», 1881.

Лео. История Эриванского епархиального училища. Тифлис 1912.

Ов. Туманян. «Раны Армении». «Оризон». 1910, № 96.

О. Григорян. К вопросу о памятнике Х. Абовяну. «Оризон», № 271, 1910.

Митсар. Мое предложение. «Оризон», № 275, 1910.

Б. Армет. Вокруг вопроса о памятнике Абовяну. «Оризон», № 272, 1910.

Багратуни. Еще раз о памятнике Абовяну. «Оризон», № 273, 1910.

М. Ар. Памятник Абовяну. «Оризон», № 273, 1910.

[Ов. Туманян]. Памятник Абовяну. «Аскер» № 51, 1910.

[Е. Лалаян]. Х. Абовян, как этнограф. «Азгагракан Андес», № 2, 1897.

М. Агабекян. Завет национальной этики «Крунк» № 11, 1860.

Гакстагаузен. Путешествие (по Армении) «Крунк» №№ 1 и 2, 1862.

Гамар Катипа. Колыбельная песня; которую мать пела, убаюкивая Агаси. Бессмертной памяти Абовяна «Крунк» № 3, 1862.

Перч Прошьян. «Агаси». Национальная трагедия в пяти актах. «Крунк» №№ 3, 4, 5, 8 за 1863 г.

Налбандян. «Юсисанайл» № 9, 1859.

Мелик Азарян М. Несколько слов об Абовяне (материалы к его биографии). «Крунк», кн. 7, 1861. Статья посвящена Г. Аветик Авшаряну.

notes

Примечания

1

Более близок к истине, кажется, А. Бакунц, который полагает, что Абовян родился в 1806 году, «ибо в 1815 году девяти — десяти лет был отдан в Эчмиадзинский монастырь на ученье». Но и тут точность далека от идеальной.

2

Это, по-видимому, ошибка. Абовян окончил старшую группу в 1826 году и, не желая остаться для дальнейшего усовершенствования, уехал в Эчмиадзин, о чем он сам рассказывает в письме, адресованном Синоду: в Тифлисе «учился два года, после чего вернулся в Эчмиадзин в 1826 году, где до смерти епископа Антония служил ему…»

3

Конгрегация — ученое братство. Подробней см. Примечания в конце книги.

4

Дпир — духовный чин, близкий к диакону

5

Сомнений нет, Паррот что-то говорил тупоголовому князю, но что именно — можно будет выяснить только после того, как кто-либо из молодых доцентов Армянского университета удосужится изучить материалы из архивов как старика Паррота, так и сына. Пороется в архивах министерства просвещения, в докладных записках министра просвещения, а если сохранился личный архив Ливена, то и в нем. Не знаю, скоро ли разыщется такой трудолюбивый молодой ученый? В ожидании его появления я и высказываю свое предположение, что Паррот, видимо, козырял энергичной и действенной русской ориентацией Абовяна, а Ливен хитро рассчитывал вымуштровать в лице Абовяна хорошо подготовленного «патриота» Российской империи.

Далее Бакунц пишет: «Число таких отрывков из поздних лет я мог бы удвоить, учетверить, но тогда вынужден был бы выписать четвертую часть его многочисленных дневников». А на Абовяна до сих пор национал-демократы клевещут, объявляя его идеологом национальной исключительности! Еще и еще раз не вправе ли мы бросить упрек Армянскому университету, научным организациям Армении, ученым исследователям, самому А. Бакунцу, которые не озаботились за семнадцать лет издать такой богатый источник для истории общественной мысли страны?

7

И здесь я пользуюсь сообщением Акселя Бакунца.

8

Эту запись я беру у Тер-Карапетяна.

9

Письма Абовяна к академику Френу написаны по-немецки. Они давно находятся в руках людей, именующих себя литераторами, но до сих пор мы можем судить о них лишь по нескольким отрывкам, приведенным в армянском переводе Шахазисом. Я привожу с армянского перевода. Возможные неточности да лягут камнем упрека на ленивую совесть этих беспримерных литераторов, не удосужившихся напечатать полный оригинальный текст писем Абовяна.

И эту интереснейшую страницу из истории армянской журналистики открыли вовсе не армянские ученые — ленивые до изысканий, нелюбознательные, а все тот же историк Казанского университета. Но зато как быстро это открытие вошло в обиход армянской литературы. На него уже ссылаются как на аргумент, ранее его публикации. Ниже в приложении читатель найдет этот примечательный документ.

11

Чрезвычайно любопытно отметить, что эту господствующую в Европе точку зрения на армянскую литературу развивал и академик Броссе, который писал в своем реферате: «армянская литература — сплошь библейская, монашеская и богомольная — не заключает в себе ни одного романа, ни одной строчки, могущей возбудить воображение. Обильные богословские сочинения трактуют о метафизических догматах, или вернее об обрядах, которые представляют для нас меньше интереса, чем обряды магометанские или буддийские и важны разве только для духовенства и тех немногих светских, для которых привычны эти темы».

Я пользуюсь указаниями т. Сеид-Заде, работающего над изучением творчества Мирза-Шафи и подготовившего на эту тему монографии.

13

Пусть не толкуют меня в том смысле, будто я упускаю из виду сложность литературного наследства Раффи: в данной связи меня интересует только его национал-мессианизм. Поэтому я ставлю его имя рядом с именем дашнакского кумира Агароняна.

14

Условно можно переводить «В часы досуга».

15

Прочитав эту мою характеристику, некоторые товарищи нашли ее строгой, ссылаясь на то, что среди неопубликованных бумаг Абовяна имеются высоко совершенные образцы стихосложения. Охотно допускаю. Но это обстоятельство только подчеркивает правильность нижеследующих моих соображений.

16

«Азарапешан» — юмористический рассказ в стихах, впервые опубликован брошюрой в Тифлисе в 1912 году.

17

См. Примечания в конце книги.

Побудит ли замечание Боденштедта наших молодых доцентов к тому, чтобы обследовать материал и выяснить судьбу учеников Абовяна? Кто они были, кем стали, что делали в осуществление заповедей своего учителя? Вопросы эти вопиют.

19

Очень интересно отметить, что в эти дни пребывания Нерсеса в Эривани и в какой-то связи с ним Абовян на три дня был подвергнут домашнему аресту.

20

И тут для прилежного доцента Армянского университета работы непочатый край. Обследовать архивы Восточной Сибири, пересмотреть дела Центрального тюремного управления (они переведены в распоряжение Центрархива). Но удосужится ли кто?